
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
ХРАНИТЕЛИ МИРОВ
ЗВЕРЬ НА КРАЮ
КНИГА ВТОРАЯ

Николай Петров
Зверь на краю

https://litres.ru/74734168
SelfPub; 2026

Аннотация

«Зверь на краю» — вторая книга цикла «Хранители миров».

Страж у стены мёртв, и жизнь гаснет во всех мирах, кроме одного. Впервые за всё время Творец не знает, почему это случилось, и вместе со своим вечным спутником Зверем, который слышит саму жизнь, отправляется искать причину. А в уцелевшем мире, в доме на опушке, человек пишет об этом книгу и уверен, что всё придумывает. Только на дорожке откуда-то возникают огромные следы, посреди ночи тянет костром, а потом в папке с рукописью появляются две главы, которых он не писал. Из лесной темноты на окна давно кто-то смотрит. И однажды в чаще за домом загорается костёр — у огня его ждут. Это история о дружбе старше звёзд, о верности того, кого оставили, и о книге, которая пишет своего автора.

Содержание

От автора	5
Предисловие	8
Глава 1. Зерно	11
Глава 2. Обход	22
Глава 3. Дар	34
Глава 4. Пять книг	53
Глава 5. Ир-ме-лам	69
Глава 6. Ясный день	84
Глава 7. Уцелевший	97
Глава 8. Небесная Гряда	102
Конец ознакомительного фрагмента.	111

Николай Петров
Зверь на краю

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
ХРАНИТЕЛИ МИРОВ
Зверь на краю
Книга вторая
2026

© Николай Петров, 2026

Все права защищены. All rights reserved.

Использование элементов вселенной без письменного разрешения автора запрещено.

Диме и Фанату, которые прочли эту историю раньше, чем она стала книгой.

Он ждёт, не зная срока и конца,
И помнит лишь ладони той тепло.

От автора

Эта книга выходила на канале «ОсколкиЭха» (youtube.com/@ShardsOfEcho) по главам, по мере того как я их дописывал. Читатели узнавали, что будет дальше, почти одновременно со мной.

В книге два голоса. Первый рассказывает о Творце и Звере: о том, как во вселенной зажигалась жизнь и как она гасла после гибели стража у стены. Второй голос — мой дневник. В нём дом у леса, будни, вечера за книгой и всё больше того, чему я не нахожу объяснения. Вёл я его день в день: даты настоящие, а погода та, что стояла в эти дни за окном. Чем ближе к концу, тем теснее сходятся оба голоса. Где здесь правда, а где вымысел, пусть каждый решит сам.

Тем, кто не читал первую книгу, предисловие коротко расскажет, чем она закончилась. И всё же лучше начать с «На грани мира»: многое здесь откликается на её события.

Спасибо Диме и его маме, которую он зовёт Фанатом. Они следят за этой историей с самого начала и давно стали её частью, а теперь появились и на страницах книги. Спасибо моей жене: многие главы она слышала первой, когда я читал их вслух, и её «Красиво написано» значило для меня больше любой рецензии. Спасибо всем, кто читал главы на канале, ждал продолжения и не давал мне остановиться.

И, конечно, спасибо Энджи. Он по-прежнему лежит у кла-

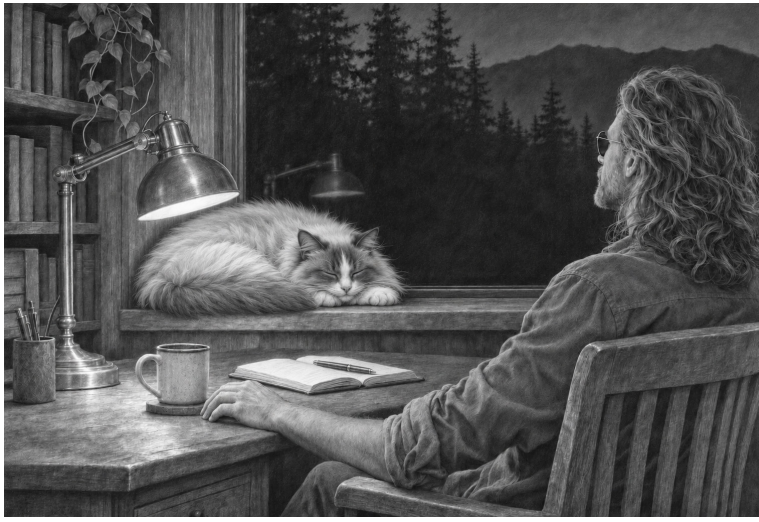
виатуры, пока я пишу, и, кажется, давно знает, чем всё закончится.

Оглавление

От автора
Предисловие
Глава 1. Зерно
Глава 2. Обход
Глава 3. Дар
Глава 4. Пять книг
Глава 5. Ир-ме-лам
Глава 6. Ясный день
Глава 7. Уцелевший
Глава 8. Небесная Гряда
Глава 9. Вопросы
Глава 10. Хор
Глава 11. Обрывки
Глава 12. Журнал отклонений
Глава 13. Мир огней
Глава 14. Визит
Глава 15. Вехи
Глава 16. Костёр
Глава 17. Хранитель
Глава 18. Две ночи
Глава 19. Подмена
Глава 20. След
Глава 21. Касание

Глава 22. Старше звёзд
Глава 23. Не один
Эпилог
О цикле «Хранители миров»

Предисловие



Ночь за окном стоит долгая, чай остывает, а я всё жду гостя, которого мне обещали. Здесь оборвалась первая книга, отсюда начнётся вторая.

Возможно, кто-то откроет эту книгу раньше первой. Если так, расскажу в двух словах, что было прежде.

Далеко отсюда, у границы одного мира, стояла исполин-

ская стена, а за ней ждала тьма. Тьма эта не была простой темнотой. Она была тем, что противоположно самой жизни, и победить её не мог никто. Такую можно только не пускать, и для этого у стены лежал страж, Дракон. Пока он жил, тьма не могла пройти.

Стену поставил Творец. Так я называю того, кто зажигает миры и бережёт их от гибели. Своего стража Творец любил и не захотел обрекать на вечную бессонную службу. Поэтому он подарил ему сон: не забытьё, а целую счастливую жизнь в реальности, созданной для него одного, с ветром, звёздами и вольным небом. Там Дракон летал молодым и не догадывался, что спит, а здесь его тело оставалось у стены и сдерживало тьму.

Люди под стеной ничего об этом не знали. Они боялись громады на краю своей земли, и страх их рос из поколения в поколение. А ещё от стены шёл зов, который год от года становился всё сильнее, и те, кто слушал его слишком долго, уходили и не возвращались.

Однажды страх людей созрел. Женщина по имени Майра, думавшая, что стена отняла у неё отца и сына, выстрелила в спящего. Кузнец Тавен, который любил её и прошёл с ней полмира, был рядом, но в тот миг отвести её руку не смог. Об их дороге я рассказал в первой книге, а здесь важно лишь, чем она закончилась.

Хранитель стены умер, так и не узнав, что на него напали.

Стена пала. Предсмертный крик стража пронёсся через

все пределы, и миры, которые держались его жизнью, начали гаснуть один за другим. Творец услышал этот крик и впервые с начала времён остановился. Во всей вселенной не было силы, способной убить его стража, и всё же тот был мёртв. Почему это случилось, Творец не знал.

А я знаю, потому что видел всё от начала и до конца. Милосердие к одному стало приговором всем. Из всего живого уцелел только мой мир. В нём стоит дом, в доме горит окно, и я не гашу свет: ко мне через мёртвую ночь идёт Творец.

С этой поры начинается история Зверя на краю.

Глава 1. Зерно



Вселенная жила уже не первый миллиард лет — и всё ещё была пуста.

Всё в ней работало. Исправно горели звёзды; галактики вращались, никуда не торопясь; вещество слипалось в камни, камни — в планеты, планеты остывали и одевались льдом. Законы исполнялись до последней буквы: свет шёл,

время текло. Это была превосходная, отлаженная машина — и во всей этой бездне некому было её увидеть.

Ни глаза, ни травинки, ни единой живой клетки. Даже тьмы — той, о которой позже, — ещё не существовало.

И вот тогда через эту вселенную полетело семя жизни.

Заметить его было некому, а если бы и было — не вышло бы: семя не летело сквозь пространство, как летит камень или луч. Оно двигалось иначе — поверх — и в наше небо входило только касаниями: вспыхивало у одной звезды, гасло и в тот же миг проступало у другой, в неизмеримой дали, словно расстояния между ними не было вовсе. След его — не линия, а пунктир: стремительный росчерк, для которого даже свет медлителен.

Проще всего понять это так. Представьте руку над водой: палец трогает поверхность здесь, потом там. Для тех, кто живёт в глубине и знает только свою воду, это два разных всплеска в двух далёких местах — а рука одна, и путь её прост и короток, но лежит он выше поверхности. Так двигалось и семя: наш мир был поверхностью, которой оно касалось.

Чем оно было на самом деле и кто отправил его в дорогу — никому не ведомо. Хочется сказать: сама вселенная — но вселенная не умеет хотеть. Достоверно немногое: семя было живым — единственным живым на всю пустоту — и искало, где пустить свои корни.

Искало оно долго. Касание за касанием, галактика за га-

лактикой. Наконец один из его шагов пришёлся на тихое место: молодая звезда, а вокруг — крошево камня и льда. Здесь семя коснулось нашего мира в последний раз — и осталось.

И посреди мёртвого космоса затеплилась первая жизнь.

Она была почти ничем. Искра — не в переносном смысле, а по существу: крохотный тёплый огонёк на обломке камня, слабее самой тусклой звезды в небе. Дунь — и погаснет. Но у пустоты свои сквозняки: жёсткое излучение, холод, голый вакуум.

Жизнь не умеет молчать, и от неё уже расходилась весть. Просто существуя, она звучит — не звуком и не светом, а самим фактом себя; и весть эта разлетается сразу и всюду, не спрашивая у расстояний разрешения. Здесь её некому было услышать. И её услышали за пределами нашей вселенной.

Да, есть то, что лежит за пределами всего. Не над мирозданием и не за его границей — границы, как мы знаем, у него нет, — а в зазоре, для которого наши слова не приспособлены: там нет ни вещества, ни пустоты, ни света, ни времени. Позже это назовут Извне — слово-указатель, а не описание.

Так весть дошла туда, где нет ни звука, ни расстояний.

У того, кто её услышал, слух был особенный — не на звук: на саму жизнь. Биение живого, где бы оно ни началось, он различает через любые дали — через галактику, через миллиарды галактик и, как выяснилось в тот раз, через порог между вселенными. Здесь всё было для него немым — мил-

лиарды лет подряд. И вдруг в этой немоте, далеко и слабо, что-то зазвучало.

Он поднял голову. И тот, рядом с кем он был всегда, понял всё без единого знака.

Так, словно из-за порога, в нашу вселенную вошли трое.

О первом рассказывать труднее всего, потому что рассказывать не о чем: у него нет ни лица, ни тела, ни размера. Когда-нибудь, когда появятся обитаемые миры, он станет входить в них гостем и каждый мир будет одевать его по-своему — в того, кого сумеет вместить; подлинного же его облика не увидит никто, потому что подлинного облика не существует.

Его назовут Творцом, и имя окажется честным ровно наполовину. Творить жизнь он не умеет — этого не умеет никто в нашем мире. Жизнь приходит сама, семенем, и даже он не знает откуда. Его дело начинается после: найти искру, пока она не погасла. Дать ей дом. И уйти к следующей.

В ту пору весть первой жизни застала его за порогом — и он пошёл на неё, как идут на крик о помощи.

И вместе с ним были ещё двое.

Первый был велик даже по меркам звёзд и создан — если его вообще кто-то создавал — для одного: хранить. Сам он об этом ещё не догадывался: хранить пока было нечего. Откуда он взялся и кем был прежде, не знал даже Творец. Много позже люди, обитатели одного из миров, дадут ему имя из своих сказок — дракон; слово выйдет гораздо мельче его, но другого у людей не найдётся.

Второй не был ни стражем, ни орудием, ни слугой. Он был спутником: тем, кто идёт рядом. В этом состояло всё его назначение — и вся его жизнь. Спустя вечность — в дни, о которых эта книга, — его назовут Зверем.

Описать его… впрочем, «описать» — неверный глагол. То, что видел бы глаз, было только проекцией — как силуэт на занавесе повторяет очертания стоящего за ним, почти ничего о нём не рассказывая. Силуэт выглядел так: тёмный косматый исполин; длинные пряди цвета остывшего пепла; тяжёлая голова, покатый хребет. Но за этим силуэтом стояло не существо. Сквозь него в наш мир смотрела целая другая вселенная — чужая, со своим небом и своими законами, о которых здесь не знает никто. Он и был её проекцией — прикосновением одного мироздания к другому.

Их с Творцом связывало не общее дело и даже не дружба: они были вместе всегда и везде — сколько существует это «всегда» — и знали друг друга так, как знают самих себя. Из всех, кто есть и когда-нибудь будет, лишь один Зверь видел Творца настоящим: не гостя в чужом облике, не присутствие без лица, а саму его суть. И что Зверю открывалось в такие минуты, не узнает никто: рассказать он не мог, да и спросить было некому.

* * *

К искре они пришли так, как умеют ходить только высшие, — не пересекая расстояние, а отменяя его. Вёл тот, кто её услышал: он один знал, как редеет далёкий стук и сколько

ещё осталось. Огонёк к их приходу почти стих: пустота брала своё. Ещё век-другой — и первая жизнь кончилась бы, не начавшись, и никто никогда не узнал бы, что она была.

Поэтому первое, что случилось у молодой звезды, не имело отношения к стройке. Зверь подошёл к обломку камня, на котором дрожал огонёк, лёг и свернулся вокруг него кольцом. Пустота с её сквозняками осталась снаружи. Внутри, в затишье его тени, слабый стук, который он один слышал, понемногу выровнялся. Так, под боком у исполина, искра принялась ждать свой дом.

Дальше началась работа, какой здесь ещё не бывало. О ней стоит рассказать отдельно.

Сначала звезда. Та, что была, не годилась: молодая, с норовом, она жила вспышками, и любая из них рано или поздно выжгла бы всё живое вокруг. Творец не стал зажигать новую — он перебрал прежнюю, как перебирают очаг: где убавил, где раздул, выровнял дыхание. Пятна на ней побледнели и сошли, рваная корона улеглась, а резкий белый свет потеплел до ровного золотого. Под такой звездой уже можно было жить.

Потом дом. Из крошева, кружившего вокруг, Творец собрал планету. У природы на такое уходят сотни миллионов лет: камень слипается с камнем, растёт, плавится от ударов, остывает. Он не нарушил ни одного из этих правил, и века эти прошли по-настоящему — просто для того, кто не стареет, они были не сроком, а материалом. Пояс обломков стя-

нулся в рой, рой сбился в ком, и небо над юной планетой долго горело от падающих камней: она росла, вбирая всё, что летело ей навстречу. Наконец огненный град иссяк. Расплавленный шар подёрнулся коркой, корка стала корой, и всё встало по местам: железное ядро в глубине, твёрдая земля сверху и дыхание вулканов между ними.

Потом он наполнил океаны — водой ледяных комет: он свёл их с дальних окраин, и они шли к планете караваном, чтобы растаять в новом небе ливнями на тысячи лет. Он поднял материки — в буквальном смысле, — и у воды появились берега. А поверх всего он дал планете плотную атмосферу, заслоняющую от космоса, и над первым морем прошёл первый дождь.

И когда дом был готов, Зверь впервые за все эти века разомкнул кольцо. Творец забрал искру жизни и перенёс её в новый мир.

Она всё ещё была почти ничем — но теперь у неё было всё: тепло в меру, вдоволь воды и время. Столько времени, сколько понадобится.

Дальше Творец не делал ничего, и это, быть может, главное, что стоит о нём понять. Он не лепит жизнь и не ведёт её за руку, не выбирает ей форм и дорог. Он лишь готовит почву.

Искра распробовала свет — и стала им питаться. Эпохи спустя мелководья первого мира дышали и цвели; на камнях лежало то, что уже можно назвать травой, а в воде сновало

то, для чего у нас есть слово «рыбы», — хотя ни трав, ни рыб в нашем смысле там не было: жизнь каждого мира сочиняет себя заново и на соседей не оглядывается.

А Зверь слушал.

От выправленной звезды до первой зелени он был рядом. Поначалу — стук одного сердца, редкий и слабый. Спустя какое-то время их стало два, потом — не сосчитать. А затем мелководья запели хором. Первый мир учился жить, и каждый его шаг был слышен. Когда Творец останавливался — у всякой работы есть минуты, когда нужно лишь стоять и смотреть, — Зверь подходил и молча опускал свою тяжёлую голову. Не как слуга при хозяине и не как друг. Просто как тот, кто всегда рядом.

Иногда он ложился у кромки воды, клал голову на лапы и подолгу слушал, как в тёплой заводи возится малое и живое. От его вздоха по поверхности перекатывалась волна.

Дракон все эти века молчал и ждал. Его час ещё не пришёл — но он уже чувствовал его приближение, как чувствуют своё ремесло раньше, чем берутся за него.

Так прошло — по счёту того мира — два миллиарда лет. По счёту троих… у них не было счёта.

* * *

Тень поднялась без предупреждения.

Первым её услышал Зверь — так, как слышат тишину. В хоре жизни, ставшем привычным, как собственное дыхание, вдруг открылась прореха: на дальнем берегу один за другим

замолкали голоса.

Жизнь там отступала. Не болела, не гибла — просто исчезала. Полоса мелководья, ещё вчера полная возни, стояла стеклянно-тихая, без единого движения. Там, где прошла тень, не оставалось ни живого, ни мёртвого. Только вещество — чистое, ровное, каким оно было до всего.

Это не было ни бурей, ни хищником, ни мором. У него вообще не было тела: нечего потрогать, нечем измерить. Когда-нибудь, когда появятся те, кому нужны слова, это назовут тьмой — и промахнутся: темнота ни при чём. Точнее всех скажет однажды, спустя целую вечность, один человек у остывшего камина: «антижизнь». Величина со знаком минус. Жизнь — возмущение мёртвого покоя; антижизнь — то, что стремится покой восстановить. Она не приходит первой. Она поднимается в ответ — как тень: стоит зажечь свет, и она уже здесь. У неё нет ни голода, ни злобы, ни цели. Она слепа, как закон природы, и так же неутомима.

Творец развеял её. Это умеет лишь он один: не оттеснить, а отменить, вернуть месту способность жить. Мелководье ожило. А потом тень поднялась снова — с другого края, такая же ровная и слепая. Он развеял и её. И следующую. И ту, что после.

Пока он работал на дальних рубежах, полосу берега держал Зверь. Не силой — присутствием: он ложился между водой и тем, что поднималось, и тень замирала поодаль и ждала. Зверь нёс в себе ту же древнюю природу, что и Дра-

кон, — природу, перед которой пятится всё, что моложе её. А моложе его была даже сама жизнь.

Тогда впервые стало ясно то, с чем этой вселенной предстояло жить всегда. У здешней жизни есть тень, и тень эту не убить: пока горит свет, она будет вставать. Одолеть её нельзя — можно только держать.

Но вечно стоять при одном мире Творец не мог: семя падает, где захочет, а упавшее гаснет быстро. Уйти же значило оставить свет один на один с его неминуемой гибелью.

Так родилось ремесло, в котором раньше не было нужды, — стража.

Творец оградил мир стеной. Издали — и много позже, глазами живущих — она будет казаться камнем: тёмные столбы до облаков, старше всякой памяти. Но одной стены было мало.

Тогда Дракон подошёл к ней и лёг у подножия.

Он вытянулся вдоль стены во всю свою немыслимую длину — и стена перестала быть просто преградой: у неё появилось сердце. Антижизнь подступила — и замерла. И дело было не в преграде, а в том, что она наткнулась на что-то старше её самой. От него веяло тяжестью времён, в которых её ещё не было, и юная тьма попятилась, не смея коснуться того, кто был прежде. Ему не понадобилось ничего делать. Хватило возраста.

Так у первого мира появился страж. Живущие в нём — когда придёт их черёд — будут пугать друг друга громадой

у горизонта, не зная, что она их и бережёт.

А потом Зверь снова поднял голову: далеко, в другом краю вселенной, стукнуло второе сердце. Новое семя нашло себе тихое место.

Прощание вышло коротким и лёгким, как всё, что не думает быть последним. Дракон проводил их взглядом до ближайших светил и остался лежать. Ему не было ни страшно, ни одиноко: у него было дело, а у существ его породы дело и покой — одно и то же.

Работа Творца с тех пор не менялась. Найти семя, пока не погасло. Развернуть искру, собрать дом, наполнить океаны и поднять сушу. Дождаться тени — она поднималась всегда — и поставить стену. А у всякой новой уже лежал страж — Дракон был один и был у каждой. Понять это нельзя, если мерить его нашей меркой, по которой одно тело живёт в одном месте. Но его телом были сами стены; ложась у первой, он лёг у всех, какие только будут. Сотни тысяч миров заведут потом сотни тысяч календарей, и у каждого в своё время встанет своя громада у границы.

Закончив, Творец уходил к следующему зерну. Он всегда уходил.

И началась самая долгая дорога на свете.

Глава 2. Обход



Миров становилось больше.

Дорога, начавшаяся у первой звезды, не была прямой. Она уходила вперёд, к новым зёрнам, но то и дело сворачивала, возвращалась и ложилась петлями, потому что стена держит только тьму, а у молодого мира есть и другие беды. Звезда с годами начинает жить неровно: то притихнет, то полыхнёт

без причины. Каменная глыба величиной с континент идёт своим путём, и путь этот через тысячи лет неизбежно пересечётся с орбитой живой планеты. Недра стынут, реки уходят под землю, льды трогаются с места и ползут на цветущие равнины. Всё это отводит лишь тот, кто этот мир собирал и помнит в нём каждый камень.

Поэтому Творец возвращался. Он обходил свои миры, как обходят большой дом: без спешки, без торжества, вглядываясь в каждую мелочь. Где-то следовало выслушать звезду и поправить в ней то, что разладилось. Где-то свести с орбиты глыбу. Где-то отогреть стынущие недра или выправить накренившуюся ось мира. Работа его была из тех, что не видны, когда сделаны хорошо. И миры не знали, что их обходят и берегут.

Каждый мир одевал его по-своему: в одном он был велик, в другом мал, а в третьем не имел тела вовсе, потому что тамошней жизни оно было ни к чему. Он не выбирал себе облика. Облик ему выбирал мир, а потом хранил в своих преданиях, так и не узнав, кто приходил. Но чаще его не видел никто. Смотрителю не нужна была встреча.

А Зверь шёл рядом, и для него дорога звучала. Каждый мир имел свой неповторимый голос.

О некоторых из тех миров стоит рассказать подробнее.

* * *

Как-то семя выбрало себе не один мир, а сразу два.

В тех краях две планеты одного веса кружили посреди пу-

стоты. Ни одна из них не была главной: обе шли, огибая общую невидимую точку, как идут по кругу двое, взявшиеся за концы одной верёвки. За долгие века взаимная тяжесть присмирила их, замедлила вращение и наконец развернула друг к другу одной стороной. Навсегда. С той поры ни одна не видела обратной стороны другой.

Оттого и небо там было устроено так, как нигде больше. Над обращённой стороной каждой из них висела вторая земля. Она стояла на одном месте веками, огромная, подробная, в тридцать солнц шириной, и менялось только освещение: то тонкий серп, то полный круг, в котором невооружённым глазом виднелись моря, материки и медленный ход циклонов. А раз в сутки светило заходило за брата, и посреди дня на обращённую сторону ненадолго опускалась вторая ночь.

Выбирать между ними семя не стало. Долетев до этих мест, оно раскололось надвое, и половины его легли на обе планеты разом.

Впервые Творец поднимал два дома. Он дал каждому миру всё, что нужно для жизни: тепло, воду, твердь и время. Работа была одна и та же, а миры вышли разные.

Один ушёл в воду. Море его век за веком наступало, суша осела и раскрошилась в цепочки островов, и вся его жизнь стала жизнью воды: течения вместо дорог, глубина вместо далей. Второй поднялся камнем. Хребты его росли, равнины легли от края до края, а вода спряталась в глубоких ущельях и редких озёрах. Оба мира были полны и здоровы. Просто

всё, чего недоставало одному, в избытке имел другой.

Водный мир видел над собой золотую твердь: хребты, ловившие вечерний свет, и простор сухой земли, какого внизу не было вовсе. Каменному с его равнин открывалось море: синее, сплошное, без единого материка. Друг друга они знали до мелочей. Когда на склоны каменного брата приходила осень, водный видел это со стороны, целиком: полмира медленно меняло цвет. А когда по водному миру шёл большой шторм, каменный наблюдал неторопливую белую воронку его облаков.

Ночи на обращённых сторонах не бывали чёрными: полный брат светил ярче сотни лун, и жизнь обоих миров понемногу перебиралась на его свет. В тихую погоду морские существа водного мира всплывали к самой глади и подолгу лежали на ней, глядя вверх, на сухую твердь в небе. А на каменном мире живое сходилось к берегам редких озёр и смотрело на воду, висящую над головой.

Встретиться они не могли. Расстояние между ними было огромно: пустота без воздуха и без опоры, которую не перелететь и не переплыть. И в этом не было ни вины, ни злого умысла.

Два мира из одного семени, на виду друг у друга. И не было во вселенной миров настолько близких и в то же время настолько далёких.

* * *

Красивее всех был мир, в котором красота стала охотни-

ком.

Сверху он выглядел праздником. Материки его цвели от берега до берега, и не вразнобой, а слоями и волнами: долины одного цвета сменялись гребнями другого, вода в озёрах стояла подкрашенная цветущей взвесью, и даже камень на скалах был расписан живыми узорами. Ни один мир не тратил на красоту столько сил.

Началось всё, наверное, с малости. В тамошних зарослях когда-то первым зацвёл не цветок, а охотник. Он выставил приманку, яркое пятно, похожее на корм, и корм пришёл к нему сам. Уловка окупилась, и её со временем переняли другие. С той поры там повелось: кто красивее, тот сыт. Началась гонка, какой не было больше нигде. Одни учились не верить, другие учились быть неотразимее недоверия. Обманутые платили жизнью, недоверчивые голодали, и с каждым кругом этой гонки мир делался прекраснее. Красота оттачивалась там, как в других мирах оттачиваются клыки.

Через миллионы лет в нём не осталось ничего случайного. Всякий цвет вёл. Всякая линия обещала. Гроздья, светившиеся в сумерках над водой, сулили сладость и кормили того, кто их вырастил. Прохладный сумрак среди жаркого полдня оказывался чьим-то терпеливо раскрытым зевом. Чистая вода, блестевшая в засуху на дне лощины, была не водой вовсе. Что там настоящее, а что приманка, не знал до конца никто из живущих. Твёрдо там знали одно: чем совершеннее форма, тем вернее гибель.

Тяжелее всего в том мире приходилось обычным растениям. Они там были: простые, честные, из тех, что кормят гостей и просят взамен разнести пыльцу. Но им почти никто не верил. Доверчивые в этом мире долго не жили, а уцелевшие обходили стороной и ложь, и правду. Так растения и стояли среди чужого великолепия, самые безопасные и самые одинокие. Пыльца их оставалась при них, и с каждым веком их становилось всё меньше.

Вот как выглядела охота вблизи. На поляне стоял цветок. Назовём его цветком, хотя растением он не был. Он умел ждать неделями, не тратя себя ни на что, кроме красоты: ровный круг лепестков, чистый глубокий цвет, покой. Старые тропы огибали такие поляны краем, и старые звери держались этих троп. Но рано или поздно на поляну выходил молодой, из тех, кто видит подобное впервые. Он останавливался. Всё в нём знало, что перед ним. Слишком ровный круг. Слишком чистый цвет. Слишком тихо. Он знал и не мог отвести глаз. Страх гонит прочь, а красота влечёт к себе, и она была старше осторожности и сильнее её. Шаг. Ещё шаг. Лепестки не шевелились до самого конца и сомкнулись мягко, без звука, как смыкается вода. Поляна осталась прежней. Ровный круг, чистый цвет, тишина. Сытая красота там ничем не отличалась от голодной. Это и было в ней самое страшное.

Оборонялись там тоже по-своему. Панцирь и бегство мало помогают против того, что не гонится. Помогало одно:

не смотреть. Старейшие породы того мира давно ослепли. Предки их были зрячими, но глаза там обходились слишком дорого, и поколение за поколением сад забирал смотревших, а оставлял тех, кто выучился жить на ощупь. Тяжёлые старые твари ходили там вдоль своих троп, слушая землю и пробуя воздух, и не поднимали век, заросших роговой коркой. Они прожили дольше всех. Потому в самом прекрасном из миров красоту почти некому было разглядывать. Она цвела для молодых и для последних зрячих. И она же их забирала.

В жизни мира, где красота стала ремеслом, Творец не изменил ничего. Винить эту жизнь было не в чем: она не знала ни жестокости, ни жалости, она цвела и кормилась, как умела. Работа смотрителя была совсем в другом. Ось этого мира стояла нетвёрдо: не было рядом большой луны, чья тяжесть держала бы её ровно, и мир понемногу заваливался набок, а с ним плыли времена года. Для жизни, где всё сверено по цветению, сбившийся календарь был бы гибелью вернее любой засухи. Всякий раз Творец выправлял ось, возвращал год на место и уходил, не тронув больше ничего. А мир продолжал цвести. Прекрасный, терпеливый, хищный.

* * *

Самым же многоголосым был мир, в котором никто никогда не встречал своих.

Суши там не было вовсе. Сплошной океан обнимал планету от полюса до полюса, и не было в нём ни острова, ни отмели, ни камня, о который могла бы разбиться волна. Сверху

он казался пустыней из воды: тёмная гладь, ветра, дожди и ни единого признака жизни, сколько ни смотри. Но это только казалось. Вся его жизнь была скрыта в глубине, и главным в этом мире было не то, что открывалось взору. Главным тут был звук.

В толще всякой глубокой воды есть особый слой. Наверху, где волны и тепло, звук быстро рассеивается и затихает. В самой глубине, в холоде, вода тяжела и упруга, и там он вязнет. А между ними лежит полоса, из которой ему некуда деться: голос, попавший в неё, не уходит ни вверх, ни вниз. Он идёт вдоль, почти не слабея, как свет идёт по стеклянной нити. В мирах, где есть материки, эта звуковая жила рвётся о берега. Здесь ей не было преград и она опоясывала планету целиком, без единого шва. И достаточно низкий, достаточно терпеливый голос мог войти в неё, обойти весь мир и вернуться к хозяину с другой стороны.

Такое под силу только большому телу. А большому телу в просторной воде нужно много корма: облака мелкой живности, плавучие пастбища, и всё это не терпит тесноты. Так этот мир вырастил исполинов и сам же развёл их далеко друг от друга: каждому достался свой край воды шириной в сотни дней пути. Двоим рядом там не прокормиться. Поэтому каждый обитал в своей воде, один, и мог прожить век, ни с кем не повстречавшись.

Род свой здесь продолжали не сходясь. Раз в несколько лет по жиле проходила особая песня. Её подхватывали

все, от края до края, и в одну ночь весь мир отдавал воде своё потомство. Течения перемешивали его, выносили к тёплым пастбищам, и там всходили новорождённые: крошечные, ещё немые, ничьи. Росли они в дрейфе, сами по себе. Но едва у подросшего прорезался голос, на этот первый оклик приходила ближайшая из взрослых. С того дня она была ему матерью. Родными там становились по голосу, не по крови.

Мать и была единственной встречей за целую жизнь. Первые годы они шли рядом: она пела вполголоса, коротко и низко, уча его, как окликнуть и как ответить, а он держался её бока и повторял. Потом приходил год, когда корма переставало хватать на двоих. Океан разводил их медленно, без прощания: прощаться им было незачем. Её голос он и после узнавал из всех голосов мира.

Оставшись один, молодой опускался в глубину и запевал первую взрослую песню: долгую, неуверенную, на пробу. И ему отвечал весь мир. Ближние, дальние, те, чьих дорог он не пересёк бы и за век, голос за голосом откликались новичку, и он впервые слышал, как их много и какие они разные. С этого дня и до конца дней он не оставался один ни на мгновение.

Когда наверху начиналась буря, этот мир просто уходил от неё. Исполины опускались туда, куда не достаёт волна, и пережидали непогоду на глубине. Наверху ревело и гремело, а внизу шёл всё тот же неспешный разговор. Буря отгуливала своё и уходила.

И тишины этот мир не слышал ни разу за всю свою историю. Всегда кто-то пел, днём и ночью, и старейший из исполинов не вспомнил бы ничего тише дальней песни.

Слабым местом здесь были недра. Молодые и горячие, они грели океан снизу: по дну тянулись огненные гряды, вода над ними теплела и, поднимаясь, перемешивалась слой за слоем. А первым в таком перемешивании разрушается самое тонкое: та самая жила, по которой ходят голоса. Порвись она, мир оглох бы разом. И это была бы не тихая беда. Голосами здесь держались границы: каждый слышал соседей за полмира и знал, где его вода. Оглохнув, они пошли бы искать друг друга — и нашли бы. Впервые за всю их историю исполины сошлись бы, и никакая вода не прокормила бы их вместе. Их погубила бы не тьма и не буря, а простая встреча.

Поэтому Творец возвращался сюда чаще всего: остужал гряды, унимал жар недр, чтобы вода лежала слоями и жила оставалась цела.

* * *

Однажды Творец посетил один из миров и больше никогда туда не входил.

Жизнь там с самого начала пошла путём подражания. Само по себе подражание есть всюду: где-то охотник носит цвет листвы, где-то безобидная тварь перенимает чужой ядовитый наряд, и на том хитрости конец. Но здесь подражание было не хитростью, а самим смыслом существования. Всё повторяло всё. Глаз там был зорче, чем где бы то ни было, а

плоть послушна глазу: что существо видело день за днём, то понемногу проступало на нём самом, как проступает загар. Только живое не умело повторять в точности: всякая копия выходила чуть иной, а копия копии уходила ещё дальше. Новых форм здесь не выдумывали. Ими ошибались. И ни одна форма никому не принадлежала: её перенимали соседи, у соседей их соседи, и через век она была общей, а через два её уже теснила новая.

Со стороны этот мир показался бы зыбким, как отражение на воде. Лист на ветке мог оказаться крылом, крыло — камнем, а камень мог подняться и уйти. Формы сменялись там, как в иных краях времена года. В один век крылья были у половины живого, даже у тех, кому нечего было делать в небе. В другой все отращивали тяжёлый гребень, которым никто не пользовался. Своего облика там не было ни у кого.

В такой мир и вошёл Творец. Одеть гостя, как это делалось всюду, здешний не смог. И тогда мир вгляделся в него, чтобы повторить. Но повторять было нечего: Творец ведь и сам без облика. И мир стал повторять то, что видел. Первыми поплыли очертания у тех, кто глядел на гостя сам: узоры их стирались, края теряли твёрдость. Потом начали блёкнуть повторявшие. Стирание пошло по живому теми же кругами, какими всегда ходили формы, только теперь новой формой была сама пустота. Мир исчезал послушно и старательно.

Спас его Зверь, которого не одевал ни один мир: сквозь него глядит чужая вселенная, и облик у него свой, всегда при

нём. Он вошёл в гаснущий мир и лёг посреди него, на виду. И живое вцепилось в этот облик всем, что в нём ещё оставалось. Стирание остановилось. Живое стало повторять Зверя, и очертания вернулись.

С тех пор это единственный мир, куда Творец больше не входил. Всю свою работу он делал снаружи, из-за грани, не касаясь.

Облик же Зверя остался ходить по тому миру. Он истончался, растворялся в новых формах, но не пропадал совсем. Раз увиденное там не забывали. Его донашивали.

* * *

Так и шла дорога: вперёд, к новым зёрнам, и назад, кругами обхода, и круги эти делались всё шире.

И у каждого из этих миров стояла своя стена. Тень поднималась в ответ всякому живому и всюду упиралась в неё. И у каждой стены лежал страж. Куда бы ни пришли те двое, он уже был там, у границы, лицом к тому, что за нею.

А Зверь слушал. Когда-то он вошёл в немую вселенную. Теперь звучало отовсюду. Каждый мир за спиной оставался голосом, и голосов стало столько, что вселенная пела хором не умолкая. И только один звук в этом хоре никогда не менялся. Это билось сердце Дракона — удар, долгая тишина и снова удар, всегда одинаковые, с того самого дня, как он остался у первой стены.

Глава 3. Дар



Вселенная давно разучилась молчать. За сотнями тысяч стен дышали живые миры, и у каждого был свой голос и свой возраст: младшие ещё только обживались, а в самых старших по вечерам уже зажигались огни, и возле огней звучала речь. Дорога, начавшаяся когда-то от единственной дрожащей искры, теперь не имела конца. Время в каждом из миров шло

по-своему, и никакой летописи не хватило бы, чтобы свести их календари воедино. Творец больше не задерживался подолгу нигде: путь его превратился в нескончаемый обход, и, когда он возвращался к какой-нибудь из стен, там уже успевала смениться целая эпоха.

Неизменным во всём этом море перемен оставалось одно: у каждой границы, отделяющей живое от мёртвого, лежал страж — и лежал столько же, сколько стояла сама граница. Миры менялись до неузнаваемости: реки первых веков уходили в новые русла, горы старели и оседали, ледники наступали и отступали, как медленный прибой, и существа, рождавшиеся и угасавшие за спиной Хранителя, давали имена звёздам над его хребтом. Кометы возвращались из дальней пустоты столько раз, что сами становились преданием; созвездия над границами медленно расползались и складывались в новые узоры; менялось всё, чему положено меняться. Не менялся только он и то, что стояло напротив: два постоянства мерились терпением через полосу мёртвого камня, и ни одно за все века не сделало ни шагу. Единственным его движением оставалось дыхание: бок, уходивший ввысь и вширь, поднимался и опускался так медленно, что путник, доведись ему стоять рядом, принял бы это за обман усталых глаз, а между выдохом и вдохом лежала долгая глухая тишина. В его неподвижности не было ни дрёмы, ни оцепенения; это была работа, которую нельзя увидеть, потому что вся она состояла в том, чтобы просто быть. Тьма, однажды подняв-

шаяся в ответ жизни, давно подступила к рубежам и остановилась; с тех пор она плескалась незримыми волнами за стенами.

У самых молодых стен тем временем подрастали народы. В каждом мире жизнь выходила к разуму своей тропой, и люди были лишь одними из многих. Во времена первых поколений громада у горизонта ещё лежала с открытыми глазами, и в их глубине медленно проходило и скрывалось то, для чего ни один язык не подобрал бы слов. Лишь редкие смельчаки отваживались заглянуть в них — и до конца своих дней не умели рассказать об увиденном. Обитатели миров держались от границы подальше и слагали о ней осторожные предания, а понятое сберегали каждый по-своему: кто в камне, кто в песне. Люди говорили так: бодрствующего не берёт ни время, ни железо. Им казалось, что эти слова сказаны о его мощи, и в ту пору так оно и было. Надписи старели, зарастали и сменялись новыми; смысл же их не менялся веками.

Хор вселенной сделался непрерывным: всё живое отвечало всему живому, и молодые голоса вырастали в нём быстрее, чем умолкали старые. Лишь сердце стража било редко и тяжело: пауза между двумя толчками длилась дольше, чем целые жизни малых существ.

Зверь знал этот звук ещё до первой стены и первой искры жизни этой вселенной.

* * *

Наше небо тогда ещё не зажглось, а Творец и его спутник

уже целую вечность шли своей бесконечной дорогой. В этот раз она пролегала через умирающую вселенную. Таких они уже миновали немало, и ни разу на их пути не встретилась жизнь. Оттого Зверь ещё не знал её биения; молчание было ему привычно, и он не ведал, что бывает иначе.

Смерть этой вселенной была естественной: простая старость, исчерпанное топливо. Последние светила догорели, и новых не рождалось. Белые карлики остыли до чёрных, и даже нейтронные звёзды сравнялись температурой с реликтовым излучением: расширение растянуло его настолько, что тепла в нём почти не осталось. Галактики к той поре рассыпались: часть мёртвых остатков за бессчётные обороты была выброшена в разбегающуюся пустоту, часть опустилась к центрам, и там, где горели прежде миллиарды солнц, остались только чёрные дыры да редкая холодная пыль. Возраст вселенной давно не мерился ничем: счёт эпох имеет смысл там, где одна сменяет другую, а здесь всё уже случилось и оставалось лишь расширение, уносившее врозь то, что не держалось друг за друга. Жизни в ней не завелось ни разу: семя туда так и не долетело, и некому было увидеть, как хороши были её звёзды в молодости. По той же причине не было в ней и антижизни: изнанке не с чего подниматься там, где ни разу не поднималась жизнь.

Двое шли сквозь эту темноту так, как умеют идти они одни, не нуждаясь ни в опоре, ни в свете, и пустота не была им препятствием. И вот посреди этой мёртвой пустыни Зверь

вдруг остановился.

Он услышал биение. В вакууме звучать нечему, но его слух не имел ничего общего со звуком в привычном смысле. Величина, которую он улавливал, не переносится ни веществом, ни излучением. И эта величина, впервые за всю дорогу, стала отлична от нуля. Где-то в невозможной глубине жило и мерно работало одно-единственное сердце. Удар. Долгая пауза, в которую уложилась бы иная эпоха. Снова удар.

Источник возмущения Зверь нашёл сразу. Впереди, в гуще мёртвых остатков, лежала сверхмассивная чёрная дыра, наследница галактического ядра; поперечником её горизонт превосходил иную планетную систему. Дыра вращалась, и вращалась быстро. Пространство-время в её окрестности было увлечено этим вращением, и всё, что попадало туда, закручивалось вместе с ним. Падать в неё было уже нечему, и оттого она молчала во всех диапазонах: ни свечения, ни вспышек — одна лишь чистая и терпеливая гравитация. Граница её была самой тихой из всех возможных: у громады таких размеров даже приливные силы у горизонта ничтожны, и пересечь его можно, ничего не заметив, — только дороги назад уже не будет. Наружу эта дверь не выпускала ничего: ни вещества, ни света. И всё же тот удар сердца приходил именно из-под её горизонта. Горизонт заперт для всего, что подчиняется здешней метрике, но биение жизни, которое ловил Зверь, ей не подчинялось.

Творец остановился перед самым горизонтом и присталь-

но посмотрел внутрь. Вообще, заглянуть туда в обычном смысле слова нельзя, так как свет оттуда не выходит, а всё, что мы называем зрением, зависит от света. Но его зрение было построено иначе. Он читал состояния мира напрямую, без посредников, и темнота мёртвой вселенной не мешала ему ничем.

Наши уравнения знают, что лежит за горизонтом чёрной дыры. Если дыра не вращается, то там тупик. Есть особая точка в её центре — не место, а событие: внутри горизонта она лежит не впереди в пространстве, а впереди во времени, как завтрашний день. В неё нельзя не попасть, как нельзя миновать следующий вторник: внутри такой дыры все дороги ведут в одно и то же, куда ни поверни. Но вращение всё меняет. Оно размазывает особую точку в тонкое кольцо, а кольцо — уже место, а не судьба: его можно миновать, пройдя вдоль оси вращения, как сквозь обруч. И для того, кто прошёл, решение не кончается. За кольцом открывается другое пространство-время, в нём снова дыра, и снова кольцо, и снова продолжение: чужие вселенные, нанизанные на общую ось. У нас это выводят на бумаге и считают свойством чистой математики, не воплощённым нигде.

Творец смотрел на оригинал.

Вниз по оси уходили пространства, не похожие ни на что здешнее: в одних ещё горели свои светила, в других светились сами законы, в иных было нечто, для чего у нашего мира не нашлось бы даже вопроса. Творец начал читать, и чте-

ние обернулось бесконечным спуском: взгляд шёл всё глубже, и под каждой прочитанной вселенной открывалась следующая.

И оттуда, из глубины, навстречу ему поднималось чужое внимание.

Кто-то шёл снизу, неторопливо и уверенно. Сколько длился подъём, сказать нельзя: по эту сторону горизонта и по ту время не сверяется. Внешний наблюдатель не дождался бы у такой границы ничего и никогда: даже падение внутрь растянулось бы для него навечно, что уж говорить о подъёме наружу. А потом произошло то, чего не ожидал и сам Творец. Мы знаем, что из-под горизонта ничто не может выйти. И это не запрет, который можно нарушить, а сама геометрия: внутри все направления будущего ведут вниз, и подняться оттуда значило бы идти против течения времени. Но тот, кто шёл снизу, поднимался в своё прошлое — и горизонт его выпускал.

Выход длился долго. Из горловины вдоль оси вращения шло тело, протяжённое и плавно изогнутое; света, чтобы его разглядеть, не было, но двоим свет был и не нужен: форма открывалась им прямо, помимо зрения, и мера ей подбиралась с трудом. Любая из погасших звёзд этой вселенной потерялась бы рядом; длину его пришлось бы мерить не поперечниками светил, а расстояниями между ними. Тело такой протяжённости и такой массы существовать не может: собственное тяготение обязано смять его, свернуть в шар, а за-

тем и в новую чёрную дыру.

Но его не сминало.

Мёртвые остатки на самых дальних орбитах дрогнули и медленно тронулись навстречу, честно отзываясь на новую массу; сама же эта масса никому не отзывалась, и ни один закон не предъявил ей счёта. Выйдя, оно развернулось во всю длину и замерло.

Чёрная дыра не была ему ни домом, ни тюрьмой. Все эти века она, сама того не зная, стояла дверью: глубина за её горизонтом была не её глубиной, а его. И этот выход вывернул дыру наизнанку: всё, что было внутри, оказалось теперь снаружи, заключённым в новом исполинском теле.

Это не было существом в том смысле, в каком бывают существа. Это было место. Единственная область, где чужие вселенные сошлись однажды и сплелись так тесно, что разнять их не могла уже никакая сила. У мест не бывает ни тел, ни сердец: телу положено жить в одном пространстве, а эта область принадлежала всем своим пространствам сразу. И всё же у него было и то и другое. Сердце его работало теперь совсем рядом — единственное, что билось во всей мёртвой вселенной, — и слышал его уже не только Зверь: те же тяжёлые толчки, та же долгая пауза между ними.

Потом открылись глаза. В них, одно за другим, стояли те же чужие пространства, что пытался прочесть Творец, звено за звеном, без конца и без дна, и из них наружу лился свет иных миров. Света этого хватило бы на целую вселенную и

более того, но здесь уже некого и нечего было освещать.

Творец попробовал прочитать его ещё раз, но глубина отдавала ему слой за слоем и не становилась мельче. Всякую иную вещь он прочитывал целиком и разом, но сейчас впервые перед ним лежало то, чего он не мог дочитать до конца.

Никто ни о чём не спросил. Бывают встречи, при которых любой вопрос меньше самой встречи, и бывают ответы, которых не вместит ни один язык. Двое продолжили свой путь, потому что дорогу не остановишь.

А он двинулся следом. Присутствие его было спокойным и ровным, и пустота вокруг перестала быть просто пустотой. Теперь их было трое. Творец шёл рядом с тем, кого впервые не смог прочесть. И за всю дорогу так и не узнал, кто был подле него.

* * *

Прошли времена, которых не счесть, и всё переменилось. Семя находило всё новые места; миры множились, и стена вставала за стеной.

Тяжелее всего Творцу давался один короткий миг: тень уже отменена, а жизнь ещё не возродилась. Мир перед ним не выглядел ни раненым, ни разорённым. Покой был не увечьем ткани мироздания, а её основным состоянием; жизнь была натянутой струной, дыханием, которое надо держать. Всё живое стоило усилия, каждое биение и каждый листок. А тьма приводила всё к равновесию: к тому, как вселенная лежит, когда её не будят.

Из этого знания следовало одно: эту струну придётся держать всегда. Не век и не эпоху, а всегда. А это означало, что вечность того, кто лёг у границ, расписана вся, без остатка. Творец думал об этом со дня, когда поднялась первая стена. Всё в этой вселенной он мог прочесть, и прочтённое не тревожило: за него можно быть спокойным. Миры стояли там, где он их поставил, и держались тем, что он в них вложил. Зверь шёл рядом от начала времён, и сомнений в нём не было. И только одного во всём сущем Творец прочесть не мог. Тот, кто лежал у стен, не был обязан ему ничем. Творец его не создавал и не звал, ничего ему не обещал и ничего не брал взамен. Гость из глубины пришёл сам, лёг сам и оставался по собственной воле; а воля того, кого нельзя прочесть, сокрыта. Каждый век его службы был подарком, и никто не знал, надолго ли его хватит. С любой другой тайной можно было бы жить. С этой нельзя было даже свыкнуться, потому что речь шла о незаменимом: второго Хранителя не было нигде, а то, что лежит у границ, могло и не прийти вовсе.

Он мог уйти в любой день так же, как появился. Дом его, если у него был дом, лежал там, куда не достаёт и мысль. Как выглядел бы такой уход, не знал и сам Творец. Может, никак. Может, у всех стен разом стало бы пусто и ни один из миров не успел бы понять, отчего кончилась его защита.

Это нельзя было назвать страхом: страх торопится, а Творцу некуда спешить. Это было ровное, неотступное знание, не умолкавшее ни на час. То, чего он не смог бы ни вер-

нуть, ни повторить, ни хотя бы понять, держалось возле него неизвестно чем. Нельзя удержать того, кого не за что зацепить; но можно сделать так, чтобы не нужно было уходить.

Средство было одно: создать новую реальность. И Творец знал это, потому что одно-единственное он всё же сумел разглядеть в том, кого не мог прочесть до конца. У того, кто носит в себе чужие вселенные, за всю его бесконечную жизнь не было ни одной своей. Не вселенные принадлежали ему, а он им: нёс их, берёг и не давал им гаснуть. Так устроено всякое вместилище: все огни в его окнах горят для других, и ни один — для него. Хранитель всего на свете не имел ничего своего. Подарить ему можно было единственную вещь, какой не найдётся ни в одной глубине: небо, которое будет только его.

Нужно ли было это Хранителю, не спросит уже никто. Тот, о ком шла речь, никуда не собирался. Он лёг у первой стены сам, без чьей-либо просьбы, и оставался бы у границ до конца всех дорог потому лишь, что был таким. Подарок, задуманный, чтобы ему не нужно было уходить, готовился для того, кто не собирался уходить. Но этого Творец не знал.

* * *

Создатель миров пришёл к Хранителю, ко всем стенам сразу: у того, кто лежит у каждой границы, нет одного места встречи. Строить предстояло там, где пока не было ничего. Новая явь должна была встать поверх нашего мира, замкнутая наглухо, в измерении, свёрнутом до незримой малости,

— близко от каждой стены и не досягаемо ни для одной из них. И ни камня, ни воды, ни света отсюда туда невозможно было перенести: всё принадлежало здешнему небу. Годился лишь материал, который здешним не был. И Творец стал строить новый мир из самого Хранителя: из его вечности.

Прежде Творец всегда работал внутри готового. Звезду он перебирал, планету формировал из крошева, а пространство, время и свет доставались ему даром. Теперь же ничего готового не было и начинать предстояло с законов: с того, как этой яви держать собственный вес, как зарождать свет, как отсчитывать время. Такого он не делал никогда. Он задумал не сновидение, а целый мир, верный до последней постоянной.

Сперва он испытывал законы и разворачивал пробные вселенные: малые, но мёртвые насквозь — ни единой живой искры и ни капли чужой вечности, одни уравнения, поставленные держать друг друга. Большего для проверки не требовалось: такая вселенная либо выстоит, либо погибнет. И с первого раза не вышло: небо получилось слишком тяжёлым и, не успев зажечь ни одной звезды, стянулось обратно в сингулярность. Второе он сделал легче, и его разорвало расширение: пространство разбегалось быстрее, чем законы успевали его удержать. В третьем сошлись и вес, и простор, но не пошло время: он велел ему ничего не отнимать, и оно, послушное, остановилось вовсе. Как примирить ход времени с задуманным, Творец понял не сразу. Каждую неудачу он

разбирал до основания и начинал заново, и так, ошибка за ошибкой, выверялись постоянные нового мира: чуть сильнее тяготение, и звёзды сгорают, не успев согреть ни одной планеты; чуть слабее, и они не загораются вовсе.

Очередная проба выстояла: удержала вес, сберегла простор, пустила время ровным шагом. Тогда Творец принялся за подлинную явь: не торопясь, с той же честностью, с какой ставил иные миры. Одного лишь он не мог себе позволить: миллиардов лет этой стройки, потому что миры ждали обхода. Но время новой яви подчинялось его собственным уравнениям, и ход его Творец держал сам: внутри сменялись эры, а снаружи не менялось даже время года.

Начал Творец с пространства: в первый миг оно было меньше точки, и тут же он рванул его вширь, разгладив всякую складку и всякий перекос. В самой его глубине Творец натянул струны — незримые нити, чьи колебания и есть материя. Какая дрожь, такая и частица. Он настроил их, как настраивают инструмент, и лишь потом дал первый жар. Молодая явь была тесной и слепящей; остывая, она отпустила свет на волю — он разошёлся, и наступила первая ночь. Жар, уходя, оставил после себя вещество: водород, простейший из атомов, с малой примесью гелия, отчеканенного в первые же мгновения. Облака его качнулись под собственным весом и начали сжиматься, и там, где они сгущались, вспыхивали звёзды. Он зажигал их не по одной: отпускал время, и законы работали сами — звёзды рождались тысячами, миллионами,

пока архипелаги огня не свернулись в галактики. Те выходили рваными и бесформенными, но за эры каждая превращалась в свою породу: какие в спирали с медленными рукавами, какие в ровные сияющие эллипсы, а какие так и остались вольными клочьями огня. Первые звёзды он вырастил исполинами в сотни солнц, и век их был короток: чем массивнее светило, тем яростнее оно горит и тем раньше гибнет, а тяжёлые элементы варятся только в звёздных недрах. Взрываясь, первое поколение рассеяло по рукавам углерод, кремний и железо — всё, из чего потом сложатся планеты и новые звёзды. Водорода в облаках он отмерил с запасом на вечность, и звёздам этого неба не грозила старость, сгубившая столько вселенных, встречавшихся прежде на пути двоих.

Только теперь Творец вошёл в сотворённый им мир. Сверху, где галактики лежали перед ним россыпью огней, он спустился в одну: в тихий рукав на её окраине, а в рукаве выбрал молодое солнце и научил его светить ровно, без вспышек. Планету он собрал из крошева, кружившего вокруг. Раскрутил её железное ядро, и она оделась магнитным щитом, отводящим звёздный ветер. Атмосферу сделал глубокой и чистой, наполнил океаны, поднял материки, пустил реки. Рядом поставил луну: ось планеты встала твёрдо, зима и лето сменялись мягко, а в океанах поднялись первые приливы. У воды появилось дыхание. Звёзды над этим миром он расставил сам, по одной. И небо это не было куполом: каждая звезда в нём была далёким настоящим солнцем. Мир вышел

неисчерпаемым: его не облететь даже вечным полётом. А в сердце одного из материков он положил долину: на востоке — гряду с зубчатым гребнем, чтобы солнцу было из-за чего всходить, а под невысокой горой — тихое озеро.

Оставалось последнее, чего Творец не умел: жизнь. Её не построить ни из какого материала; она приходит только семенем. И здесь замкнутость новой яви не была ей преградой: семя не принадлежит ни одному небу, оно приходит Извне, и пороги ему не писаны. Нужна была лишь одна живая искра.

Искру добыл Зверь. Незадолго до того в нашей вселенной стряслась беда. Очередное семя, странствуя своими касаниями, ступило слишком близко к чёрной дыре, но не к громадине вроде той, из которой когда-то вышел Хранитель, а к малой, всего в несколько солнц весом: у таких горизонт тесен, и приливные силы возле него рвут на части всё, что подошло. Шаг семени пришёлся в эту воронку, и его разорвало на тысячи искр. Одни гасли на лету, другие соскальзывали за горизонт, откуда уже нельзя было вернуться. Зверь услышал их через полвселенной, тысячу слабеющих огоньков разом, и успел к последним. Дотянуться удалось до одной, ещё живой. Её Зверь принёс бережно, как не нёс ничего за всю дорогу, и Творец опустил искру в тёплое мелководье моря нового мира. Дальше он, как всегда, не делал ничего: жизнь строит себя сама. Зацвели луга, леса поднялись по склонам, зверьё и птицы наполнили их от корней до вершин. Творец смотрел и не вмешивался: хозяином здесь был уже не он.

Так Творец построил новый мир для Хранителя миров.

И ещё одно он вложил в тот край, чего не строил никогда и нигде. Юность. Тому, кто старше всего, он приготовил крылья, которым не терпится в воздух, утро, у которого всё впереди. Старость туда дороги не знала, усталость не приживалась, а время шло, ничего не отнимая. Тот, кто уснёт старейшим всего сущего, очнётся самым молодым под собственным небом.

Не было у этого мира ни стены на горизонте, ни рубежа, ни тьмы. Всё в том краю, от неба до последней капли воды, состояло из вечности того, перед кем пятилась сама тьма; в мире, где каждый камень — Хранитель, ей не было места.

Так появилось единственное небо, под которым нечего хранить и которое нельзя было повторить: другой такой вечности не существовало, и Творец это знал.

Дальше не было ни прощания, ни последних слов: для того, кто уснёт, ничего не кончалось. Тела остались у стен, все сразу, и стража их не прервалась ни на один миг. Творец взял лишь того, кто смотрел изнутри, само древнее «я», которого не сумел дочитать, и перенёс его под новое небо, в самое первое утро.

Для Хранителя же не было ни засыпания, ни перехода.

А был лишь ветер и молодое сильное тело, расправляющее крылья одно за другим, до самых кончиков; был воздух, принявший весь его вес, и земля внизу: лес, река, хребты, за ними ещё хребты. Ничего не заканчивалось, не обрыва-

лось и не начиналось. Всё было всегда. Дара он не заметил: замечают перемену, а для него ничего не переменилось. Он просто летел. Вот гора, тёплая насквозь; вот озеро, где зимой встанет лёд; вот лес, которому положено шуметь. Всё было на месте. Всё было его. И всё это он уже помнил.

А по эту сторону у сотен тысяч стен, в один и тот же миг, не отмеченный ни в одном календаре, впервые за всю историю этой вселенной опустились тяжёлые веки. Где-то стоял полдень, где-то глухая ночь, где-то над границей шёл первый снег; общего «сейчас» у миров не было, и всё же это случилось со всеми сразу. Веки сомкнулись не до конца. У самого края осталась узкая длинная щель, и в ней стоял влажный тёмный блеск: последнее окно, которого не затворяет даже сон. Миры не заметили ничего. Громада у горизонта осталась громадой, дыхание её не сбилось, и давний страшный взгляд, который выдерживали немногие, померк. А те, кому выпало смотреть тогда на границу, так и не поняли, что видят: самое древнее, что есть в мироздании, первый раз за свою безначальную жизнь уходило спать.

* * *

Из всех, кто жил тогда, перемену заметил один Зверь.

Стук сердца остался. Он приходил в свой прежний срок, тяжёлый и мерный, и молчание между толчками не стало ни короче, ни длиннее. Но за ударом теперь стояла пустота. Раньше за этим звуком всегда кто-то был: Зверь слышал сквозь него живое присутствие. Теперь сердце било так же

ровно и так же вовремя, но за ним не было никого. Так стучат часы в доме, из которого ушли.

О цене дара тогда не знал ни один из троих. Явь была выстроена из вечности Хранителя — и ничем другим держаться не могла. Питаться ей было нечем, и недостающее она тянула из спящего: тихо, по капле. Пока страж бодрствовал, не было силы, способной ему навредить. Но теперь вечность утекала туда, где всходило его собственное солнце. Всё, что убывало по эту сторону, прибывало по ту. А тела у стен понемногу теряли то единственное, что делало их неприкосновенными. Слово «смертный» ещё долго нельзя было бы к ним приложить. Но дорога к этому слову уже началась, и шла она без остановок.

Заметить это было невозможно. Ничего не ломалось, миры жили, как жили. Дар был построен честно, и не было в нём ни ошибки, ни изъяна. Но у всего сделанного есть последствия, и одно из них проглядел даже тот, кто видит всё.

Дорога повела двоих дальше: где-то невообразимо далеко уже теплилась, зовя на помощь, новая искра, и заставлять её ждать было нельзя. Они уходили, не оглядываясь. Позади, у каждой границы каждого живого мира, лежал Хранитель. И высоко над всем этим, в небе, какого нет ни на одной карте, поднималось к полудню молодое солнце, и тот, ради кого его зажгли, шёл под ним широкими кругами, всё выше и выше, вольный и счастливый, не помня ни стен, ни тьмы, ни своих бессчётных лет.

Всё было хорошо.

Глава 4. Пять книг



Меня будят в шесть сорок.

У моего будильника восемь килограммов живого веса, белоснежные лапы и голос, которым можно объявлять эвакуацию. Он садится в двух метрах от кровати — ровно в двух, дистанция выверена годами — и включается.

Дальше всё идёт по протоколу. Я притворяюсь спящим.

Громкость нарастает. Тогда я делаю бросок — стремительный, отчаянный и заранее обречённый: пушистый возмутитель спокойствия снимается с места и утекает в коридор с лёгкостью, которой никак не ждёшь от существа такой комплекции. Я падаю обратно и закрываю глаза. Через минуту он снова сидит у кровати и зовёт. На третьем-четвёртом заходе я сдаюсь и встаю. Будильник провожает меня взглядом до ванной, убеждается, что процесс необратим, и уходит к себе в прихожую. Досыпать.

В этой системе продумано всё, кроме справедливости.

Кота зовут Энджи. Ему посвящена моя первая книга — та самая, за которой мы сегодня заедем после работы: пять авторских экземпляров вот-вот доберутся до пункта выдачи. Он об этом не знает, а узнал бы — не удивился. С его точки зрения, посвящать ему следует всё, что пишется в этом доме.

Он рэгдолл, и это многое объясняет. Кот крупный, и шерсть у него длинная и невесомая, не шерсть даже, а кроличий мех. Лапы белоснежные, потому что он домашний: на улицу мы выходим только вместе, и путешествует он обычно на руках. Носить его можно долго, при одном условии — не стоять на месте. Остановишься, и в тебе немедленно разочаруются. Ему не нужны ни колени, ни объятия; ему нужны постоянное движение и тот, на ком можно удобно расположиться.

Лежать рядом он не станет. Приляжешь к нему — поднимется, отойдёт на полметра и уляжется снова: вот теперь

правильно. Это расстояние он держит всегда и выбирает его сам. Зато рукам он рад: расчёску и ласку принимает с мурчанием на весь дом — валится на спину, подставляет живот. Близость в этом доме бывает — но только на его условиях. Любящий и недосягаемый.

И у него всё по полочкам. Сухой корм — в одном месте, влажный — в другом; перепутаешь — есть не станет и посмотрит на тебя долгим взглядом ревизора. Спит он в прихожей, на своём диванчике; переставь диванчик — он ляжет там, где тот стоял: место главнее вещи. А лучшее место на свете — наша обувь. Она вся в его шерсти, сколько её ни чисти. Я давно смирился: это его автограф.

Если он выбрал место и лёг — всё, место занято. Хоть посреди кухни, хоть на пороге: обходят все, и никому в голову не придёт его подвинуть. Ему в этом доме позволено всё, и он ни разу этим не злоупотребил — сохраняет достоинство и не выходит за рамки приличия. У него довольно большая родословная, и ведёт он себя соответствующе — как дворянин.

Жена в такую рань давно уже на ногах — у зеркала идёт неторопливая утренняя работа, смысла которой я не понимаю, но результат неизменно одобряю. Из нас двоих жаворонок — она. По крайней мере, это так выглядит. Я всю неделю обещаю себе отоспаться на выходных, а в субботу открываю глаза в семь утра, сам, без всякого кота, и лежу в тишине, слушая, как в голове одна за другой просыпаются мыс-

ли. Ничего драматического в них нет: обрывки строк, недописанный код на работе, вторая книга, которая идёт медленнее, чем мне бы хотелось. Просто утром всё это звучит громче, чем днём. Но сегодня пятница, и хочешь или нет, а надо взбодриться и ехать на работу.

— Доброе утро. Опять не поймал? — спрашивает жена, не оборачиваясь.

— Это было стратегическое отступление. Изматываю противника.

Кофе — чёрный, без ничего. Есть по утрам я так и не научился: не лезет, и всё. Я стою у окна с чашкой; за стеклом — лес, а над лесом, в утренней дымке, горы. В доме в этот час хорошо: тихо и спокойно. За все эти годы я так и не решил, за что люблю наше место больше — за вид из окна или за то, что соседей отсюда не видно: ближайшие живут за лесом, в паре сотен метров, и напоминают о себе разве что дымом из трубы по холодам.

В восемь выезжаем. Энджи провожает нас до двери и, едва щёлкает замок, отправляется досыпать. Нам с женой по пути: сначала её работа, потом моя. Дорога ныряет в лес, сосновые стволы идут вдоль обочины ровной колоннадой, потом поворот — и справа распахиваются горы, высокие и торжественные. Я вижу их каждое утро который год.

У её работы мы стоим полминуты.

— Вечером надо будет заехать в магазин и ещё забрать посылку, — говорит жена, собираясь выходить из машины.

— Да, мне тоже должна прийти посылка, — говорю я.

Мы целуем друг друга и желаем хорошего дня.

Уже отъезжая, я тщетно пытаюсь снять с рукава белые волоски. Ну да. Автограф хозяина дома.

* * *

В офисе я первым делом завариваю чай — зелёный, с женьшенем, в большой стеклянный чайник, на весь день. Я распробовал этот чай ещё весной, и теперь мне его возят издалека; посылка идёт дольше иного отпуска.

Нас в фирме двое: шеф и я. Шеф разговаривает с клиентами — это отдельный талант, и я рад, что он достался не мне. Всё остальное — моё: придумать, провести расчёты, написать код, всё проанализировать, собрать и убедиться, что мир также согласен с моими выкладками. Мир согласен не всегда; в этом, собственно, и интерес. Иногда мы выезжаем на объекты проводить измерения: приборы для этих измерений я же и делаю, так что претензии по качеству предъявлять удобно, далеко ходить не надо. Сегодня, по счастью, никаких выездов. Пятница, день коротких дел: я закрываю хвосты недели, отвечаю на письма, подправляю код и загружаю компьютер анализом данных до понедельника, потом ещё минут двадцать сижу с паяльником. Запах канифоли действует на меня лучше всякой медитации.

Уведомление приходит после обеда: посылка прибыла в пункт выдачи. Сухая казённая строка, а тепла от неё — на весь день. В той посылке мой первый тираж. Слово-то какое

— тираж: произносишь, и хочется поправить несуществующий галстук. Пять экземпляров: себе один, по одному детям и пару — про запас, неизвестно зачем, но пусть будет.

Вторая половина пятницы проходит в лёгком нетерпении, которое я стараюсь не показывать даже самому себе.

* * *

Вечером забираю жену с работы и мы заезжаем сначала за посылками, потом в магазин — всё по заведённому пятничному кругу. Моя коробка оказывается меньше, чем я её себе представлял, и заметно тяжелее.

— Это что у тебя? — спрашивает жена, когда я устраиваю коробку на заднем сиденье.

— Мои книги приехали.

— О! Давай посмотрим!

— Нет, лучше дома.

Пятничный магазин полон людей, закупающихся на выходные, и у всех в тележках примерно одно и то же счастье: еда и что-нибудь к чаю.

Дома нас встречают в прихожей. Досмотр принесённых сумок — процедура обязательная: пока каждый пакет не обнюхан, официально он в дом не допущен. Коробку с книгами Энджи удостаивает более тщательной проверки.

Ужин готовим вдвоём. Я режу, жена у плиты; стучит нож, шипит масло, вполголоса играет музыка. Энджи получает своё — строго в правильную миску и строго в правильном месте: перепутаешь — не поймёт. Разговор идёт лёгкий: пла-

ны на выходные, вечерний созвон с детьми — узнать, как они там обживаются к новому семестру.

Коробку я вскрываю после ужина. Не торопясь: сначала убираем со стола, потом я ставлю чайник, достаю нож, поддеваю скотч. Поднимается запах типографской краски. Все новые книги на свете пахнут одинаково, но я не знал, что этот запах может так действовать, когда на обложке твоё имя.

Их оказалось шесть, а не пять. Видимо, одна бонусом. Я беру верхнюю и держу в руках. Она тяжелее, чем я думал. Настоящая. Я знаю в ней каждое слово — и держу её впервые.

— Дай и мне. — Жена вытирает руки полотенцем, берёт вторую и открывает наугад, где-то на середине. Молчит, ведёт глазами по строчкам. — Надо же. Я ведь её до сих пор твоим голосом слышу.

— Ну так я тебе её всю и перечитал вслух. Некоторые главы даже не один раз.

— Ты у меня теперь писатель.

— Угу, — отвечаю я. — Никогда не думал, что стану писателем.

Телефон щёлкает, фотография меня с книгами на руках улетает в семейный чат. Ответ через минуту — целый салют из смайликов.

Брак нахожу сразу. Текст на корешке съехал вбок. Немного, но съехал. Причина понятна — неверно рассчитана толщина корешка. Инженер во мне удовлетворён, автор — уязв-

лён.

— Смотри, — показываю я жене. — На обложке текст не по центру.

Она вертит книгу.

— Ну да, чуть-чуть. Не страшно.

Письмо в техподдержку типографии я всё-таки пишу в тот же вечер — вежливое, с замерами и разбором причины. Заказывать перепечатку, конечно, не стану. Первый тираж, первый брак — всё как у людей.

Один экземпляр я ставлю на полку, между справочником по схемотехнике и книгой по цифровой обработке сигналов. Смотрится неожиданно. Ничего, привыкнут друг к другу.

Вечером — созвон. Я верчу книгу перед камерой; с той стороны требуют по экземпляру с автографом и, как всегда, зовут к экрану кота. Кот не идёт: он не признаёт людей, которых нельзя обнюхать.

Потом жена устраивается со своим экземпляром в кресле и листает — не с начала, а по знакомым местам, как листают семейный альбом. Она слышала эту книгу раньше всех читателей на свете: я читал ей вслух, глава за главой, по мере того как они писались. Это были хорошие вечера. Я читал, поглядывая на неё, — и не из любопытства: она мой главный критик. Если что-то не так, то прямо она не скажет — боится обидеть. Да ей и не нужно ничего говорить: за тридцать лет я выучился читать её без ошибок. Если после главы она молчит и о чём-то думает — надо переписывать. Если сразу

хвалит — всё получилось как надо.

— А всё-таки она получилась, — говорит жена.

— Тут и твоя половина есть.

— Моя-то откуда?

— Ты слушала.

Она листает дальше, потом опускает книгу на колени.

— Слушай, ну не могу я её понять. Майру твою. Сколько ты мне ни объясняй.

— Ты это уже говорила. Не раз.

— Говорила и ещё скажу, потому что не понимаю. Горе её я понимаю: сына не вернёшь, с этим не живут, а как-то доживают. Злость понимаю — ей надо было кого-то винить, иначе как с этим ходить. Но у неё же рядом живой человек был. Живой, который любил её и полмира за ней прошёл. Как можно смотреть на живого — и выбрать месть?

— Она не выбирала. За неё страх выбрал.

— Вот я и говорю: горе — оно как долг. Не рассчитаешься вовремя — обрастёт такими процентами, что уже не сына помнишь, а только счёт.

Я молчу.

— Кстати, как там твой зверь? Движется?

— Сегодня главу закончил. Третью.

— Прочтёшь?

— Дам отлежаться — прочту.

Короткий взгляд в сторону прихожей, где на коврике растянулся белоснежный кот.

— Вон он, наш зверь, дрыхнет.

Я открываю книгу на первой странице — там, где посвящение. Потом пролистываю её всю. Бумага плотная, шрифт ровный, поля щедрые. Половину этих страниц я знаю на память — и всё равно листаю не отрываясь. Потом открываю самый конец, страницу, которую помню лучше всех. «Я пишу — и жду». Последняя строка первой книги.

Странная она была, эта книга, — не сюжетом, а тем, как писалась. Обычно замысел — это зуд: чешется, вертится, перекраивается на ходу. Этот пришёл иначе — как приходит воспоминание о давно решённом деле: спокойно и целиком. Вся рамка была на месте с первого дня: рассказчик у окна, гость, который знает всё, и его просьба записать. Дальше, в сущности, оставалось только записывать. За целое лето сюжет ни разу не свернул, не забуксовал, не потребовал переделки. Я его не вёл. Я за ним едва поспевал.

Решиться написать её помог, впрочем, кое-кто вполне реальный. Есть на моём канале, где я публикую свои песни, один слушатель. Однажды он написал мне: «Попробуйте». Одно слово — а вот, пожалуйста: на краю стола пахнет типографской краской. Так что, если совсем честно, эту книгу у меня попросили дважды: снаружи — в комментарии под песней, изнутри — гость у остывшего камина. Первого я поблагодарил в самой книге. Про второго стараюсь лишний раз не думать.

Со словами у меня в последнее время вообще нелады.

За ужином вот сказал про вторую книгу — «придумываю». Слово выскользнуло само, лёгкое, обкатанное, и никто не заметил, что оно неточное. Я заметил. А какое точное — не знаю. Да и с кем таким поделишься? «Мне кажется, я не придумываю свои книги» — вслух это звучит либо кокетством, либо поводом померить температуру. Есть вещи, которые взрослый человек держит при себе: не потому, что они постыдны, а потому, что для них пока не изобрели слов, которые не стыдно произнести. У инженера на такой случай есть правило: если данных нет, а есть только ощущение, — держи его при себе и продолжай измерения.

В девятом часу вечера мы садимся смотреть фильм. Жена почти сразу уплывает в телефон, я — в свои мысли, и честнее всех кино смотрит Энджи из кресла, с положенной дистанции от нас обоих. Довольный и недосягаемый.

* * *

К ночи дом затихает. Жена уходит спать, я сажусь за стол. Моё место — у окна: днём в нём лес и дальняя гряда, ночью — отражение комнаты да тёмные очертания за стеклом.

Энджи приходит через пять минут: вспрыгивает, аккуратно, лапа за лапой, обходит клавиатуру и укладывается справа от монитора. Ему на стол можно — его лапы чище моих рук. Он лежит, щурится на свет и присматривает за работой. Без него тут, видимо, никак.

На экране открыт файл второй книги. Внизу стоит последняя написанная строка:

«Всё было хорошо».

Я перечитываю её. Лучше и не скажешь; трогать не буду. Под строкой — пустое белое поле, и от этого привычно сосёт под ложечкой.

Час уходит на правку вчерашнего. Занятие это порой нудное: меняешь слово — плывёт смысл предложений, абзац расползается. Со второй книгой это случается подозрительно часто. Я списываю это на усталость.

Эта книга растёт из песни. Есть у меня такая, одна из первых, ещё весной написана, и называется она так же, как будет называться книга, — «Зверь на краю». Песен с той поры набралось около сотни, и я до сих пор к этому не привык. Когда-то я уже писал — молодость, гитара, всё как положено; потом четверть века тишины. А этой весной прорвало. Я открыл свой канал и выкладываю туда всё своё творчество. Стихи мои теперь звучат цифровыми голосами. А сами они приходят без расписания: посреди мытья посуды, на парковке, в дороге, во время работы. Внутри просто начинает звучать строка — готовая, с ритмом, — и всё, что от меня требуется, — это донести её до клавиатуры, не расплескав. Слово «сочиняю» здесь не годится: сочинять — значит перебирать варианты, а тут вариантов не бывает. Так записывают не выдуманное, а то, что знал давно и боишься забыть. И темы этих песен я не выбираю: про море, про дорогу, про прощание, про зверя, который ждёт. Спроси меня, откуда во мне столько всего, — не отвечу.

Прежде чем вернуться к главе, заглядываю на канал — вечерняя привычка. Под последней песней свежий комментарий, и я улыбаюсь раньше, чем начинаю читать, потому что вижу имя. Дима. Тот самый. Юг, море, старые мотоциклы, которые он перебирает сам; песни он слушает, пока руки заняты делом, а книгу читает вслух маме — она у него главный ценитель, он так и зовёт её: Фанат, с большой буквы. Пишет Дима, как рассказывают у костра: короткие фразы, многоточия вместо пауз, а где совсем жарко — большие буквы.

«Мир вашему дому, Мастер! Перечитали с Фанатом финал ещё раз… КАК ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?! От Фаната привет отдельный. Ждём Зверя!!! ЭХО НАВСЕГДА».

Я отвечаю коротко, а потом ещё сижу над его строчками. Где-то далеко, возможно у тёплого моря, человек читает мою книгу вслух своей маме. Похоже, у этой книги так заведено: её читают вслух тем, кого любят.

* * *

Движение я ловлю краем глаза.

В чёрном стекле, поверх моего отражения, что-то проходит — плавно, слева направо, по самой границе, где кончается отсвет комнаты и начинается настоящая темнота. Я поднимаю голову. За окном стоят сосны, неподвижные, как им и положено в безветренную ночь. Больше ничего.

Сердце тем не менее успевает сделать один лишний удар: организм реагирует раньше, чем голова подбирает объяснение. Мозг выдаёт через секунду свою версию: блик. В стек-

ле, где отражается полкомнаты и монитор в придачу, может мелькнуть что угодно.

Зато Энджи не спит. Голова поднята, уши развёрнуты к окну, и из глубины его идёт низкий ровный рокот — так он ворчит на всё, что ему не нравится.

— Там никого нет, — говорю я. Ему и себе.

Рычание стихает не сразу. Ещё с полминуты он смотрит в тёмное окно, потом укладывает голову на лапы и закрывает глаза: вопрос закрыт.

Его слуху я доверяю больше, чем своему. Но коты, известное дело, умеют уставиться в пустой угол так, что хозяину делается не по себе. Все так делают. Наш не исключение.

Я работаю ещё немного и гашу лампу. Дом ночью разговаривает своими голосами: щёлкает остывающая крыша, вздыхает холодильник, где-то оседает половица. Я знаю эти звуки все до одного.

Перед сном — обязательный ритуал: расчёска. Не расчешешь — не уснёт никто во всём доме. Обычно к этому часу Энджи уже ждёт у спальни, развалившись поперёк дороги и всем видом напоминая о моих обязанностях.

Сегодня его там нет.

Я нахожу его в прихожей. Он сидит напротив входной двери — очень прямо, обернув лапы хвостом — и смотрит на дверь. Просто сидит и смотрит на закрытую дверь.

— Энджи, — зову его я.

Ухо поворачивается ко мне. Сам он — нет. Проходит се-

кунд пять, потом он оборачивается, встаёт и идёт ко мне обычной своей походкой. Дальше всё как всегда: блаженно подставленный живот, урчание, от которого, кажется, слегка дрожит пол.

Ночью по крыше начинает стучать дождь. Сквозь сон я успеваю подумать, что это к грибам, и засыпаю окончательно.

* * *

В семь утра я открываю глаза сам.

Суббота. Спешить некуда, а отоспаться опять не вышло: обещал себе всю неделю, но глаза открываются в свой час, и мысли уже тут. Лежать и слушать их — занятие на любителя. Я тихо встаю. В прихожей, свернувшись на своём диванчике, спит мой будильник: у него выходной.

Я варю кофе и выхожу с чашкой на улицу.

Утро после дождя стоит чистое: воздух прохладный, хвойный, над травой у леса висит клочьями туман, с крыши редко и глухо капает. В лесу лениво, по-субботнему переговариваются птицы.

Следы на земле я замечаю не сразу.

Поперёк дорожки — там, где кончается трава и лежит полоска глины, — несколько отпечатков. Ночной дождь почти стёр их: большинство расплылось в бесформенные лунки, и только два, у самого края травы, уцелели. Я присаживаюсь на корточки. Отпечаток круглый, с широкой подушечкой, пальцы собраны — и ни одной отметины когтей. Не похоже на

собаку: у них лапа всегда расписывается когтями. Без когтей ступают кошачьи. Только вот в этот отпечаток обе передние лапы Энджи встали бы рядом — и ещё осталось бы место.

Объяснение подбирается быстро. У соседей, кажется, была собака, крупная; отпечатки размыло дождём, следы когтей смыло вместе с краями — вот и вся загадка. Звучит разумно. Но что она тут делала? Одна, ночью.

Я возвращаюсь в дом, а в прихожей меня уже ждут. Наши с Энджи прогулки устроены просто: я иду, он едет. Сидит на руках, тяжёлый и тёплый, и озирает свои владения; ставить его на землю нельзя, останавливаться — тоже. Мы обходим дом кругом, задерживаясь там, где ему слышно что-то, чего не слышно мне, и возвращаемся. Белые лапы за всю дорогу ни разу не касаются земли.

Если собрать всё странное, что случилось за эти сутки, выйдет список короткий и смешной: блик в оконном стекле, кошачий рокот на пустую темноту, медитация у закрытой двери и несколько круглых следов. У каждой мелочи есть объяснение — простое, удобное.

Дом пахнет кофе. Книги лежат стопкой на краю стола; корешок съехал на всех одинаково, и я уже решил считать это не браком, а приметой первого тиража. Я придвигаю клавиатуру и сажусь писать.

Глава 5. Ир-ме-лам



В том мире утро наступало дважды, и первое было долгим и почти незаметным. Над равниной медленно гасло небесное кольцо — широкая серебряная дуга, перекинутая через всё небо от края до края; всю ночь она давала ровный холодный свет, похожий на блеск снега в полнолуние, а перед утром бледнела и истончалась, и трава на земле из голубой стано-

вилась серой. Потом из-за восточного гребня выкатывалось солнце, и всё менялось разом: рыжие мхи вспыхивали медью, вода в низинах розовела, и по вершинам старого леса катилась волна утреннего света, будто кто-то вёл по кронам кистью.

Ночи были холодные, и стоило небу потемнеть, как тепло уходило из воздуха и всё быстро остывало. Взрослым это было нипочём. Кора у них к третьему веку становилась толстой и грубой, корни доставали до глубины, где не бывает мороза, и на ночь они попросту останавливали в себе движение сока и стояли до утра, ничего не чувствуя.

Молодым приходилось хуже: их кора была тонкая и мягкая и тепла не держала вовсе. Поэтому спать они уходили в лощины, где прямо под землёй лежало собственное тепло планеты; в иных из них почва не остывала до самого утра, а над мокрыми местами всю ночь держался лёгкий пар. Возле таких мест и разрастались самые густые рощи: взрослые ведь тоже были когда-то молодыми и врастали там, где потеплее.

Но и этого хватало ненадолго. К концу ночи молодняк промерзал так, что корешки почти переставали слушаться, и труднее всего давалось первое движение. Невозможно было согреться, стоя на месте: тепло рождалось в них только от ходьбы. Поэтому, едва небо на востоке начинало светлеть, всё это множество снималось с места и бежало вверх, прочь из лощин, на открытые склоны; и чем холоднее была ночь, тем сильнее торопились, и наверх они приходили уже немно-

го согревшимися. Там их и заставало солнце.

Ходили они большими стадами. Их бывало по нескольку сотен, трава доходила им до самой листвы, так что со стороны над равниной ползло одно широкое медное пятно. Кора на них была ещё мягкая и лишь понизу, от самых корешков, начинала темнеть и грубеть; листва стояла первая, редкая, цвета старой меди, и на ходу шумела так, что за этим шумом не слышно было собственных шагов. Настоящих корней у них ещё не было — вниз шёл пучок коротких упругих корешков, которыми они и переступали, часто и мелко; а стоило постоять подольше, как корешки сами начинали тянуться в почву.

Медными были все, кроме одного. У того, кто шёл первым, листва была светлая, почти белая, будто её выбелило солнцем, и в любой толпе его находили взглядом сразу. За это его и прозвали Светлым. Но настоящее имя приходило позже, после врастания, и давалось по названию выбранного места.

В то утро, поднявшись на склон, все развернулись к солнцу и больше никуда не спешили. А Светлый пошёл дальше — через гребень и вниз, на равнину, что тянулась к востоку, — и шёл, пока трава под ним не сделалась ниже и реже.

Камень стоял на востоке всегда. Он закрывал собой полнеба — тёмные ровные рёбра, поднимавшиеся из земли тесно, одно к другому, и уходившие вверх так далеко, что порой терялись в облаках. Его видели отовсюду и с рождения,

привыкали к нему, как привыкают к небесному кольцу и к дождю, но говорили о нём не чаще, чем о погоде. Солнце всходило где-то позади него, и потому по утрам он был чёрен, и только по верхним граням шли узкие рыжие отсветы, а тень от него лежала через равнину ровной холодной полосой шириной в день пути. Там почти ничего не росло, и никто туда не ходил.

Светлый шагнул в эту тень — и всё оборвалось разом. Трава здесь лежала совсем низко и была седой от инея, какого не бывает в разгар лета. Он ещё немного прошёл вперёд, и вдруг снизу пришло то, чего наверху было не уловить: корешки поймали медленный тяжёлый гул. Он поднимался и опадал, и между одним подъёмом и другим проходило столько времени, что Светлый успевал забыть, чего ждёт. Под равниной кто-то дышал.

Остальные увидели, что Светлый зашёл в тень, подошли ближе и встали, сбившись у самой границы света. Кто-то тронул корешками седую траву и тут же отступил, кто-то замер, вслушиваясь в землю, но долго они там не пробыли, потому что страх у них в этом возрасте был лёгкий и проходил быстро. Очень скоро всё это шумное множество повернуло вдоль тени и пошло дальше как ни в чём не бывало; Светлый уходил последним и всё оглядывался.

Той ночью он впервые не стал смотреть на небесное кольцо, хотя молодые смотрят на него подолгу, пока не заснут. Он стоял, вжав корешки в тёплую землю, и слушал; гул до-

ставал и сюда, за целый день пути, — такой слабый, что его можно было принять за движение собственного сока. С той ночи это дыхание было с ним всегда.

* * *

Их звали ходоками, потому что ходьба была всем их смыслом. Подолгу стоять им не давала почва: за ночь корешки вытягивали из неё всё, что могли, и на другую ночь то же место уже не кормило — ему надо было отдохнуть до следующего круга. Была и вторая причина, о которой они не задумывались, поскольку знали её с рождения: под кронами взрослых тени было куда больше, чем света, и всякий, кто задержался бы в лесу, попросту остался бы голодным.

Так и выходило, что за год они обходили мир по широкому кругу. Зиму пережидали у южного моря, где туманы стоят от заката до полудня, а вода не стынет даже в морозы и ночь не забирает у земли всё до последнего; весной поднимались вдоль больших рек в травяные равнины; летом взбирались на плоские холмы, открытые всем ветрам.

По этому пути их вело само солнце, и ходоки просто шли туда, где день длиннее, а ночь короче. Ночами дорогу им указывало небесное кольцо: оно одно не меняет в небе своего положения, и по нему любой из них знал, куда идти. Случалось им проходить и лесом. Здесь стояли взрослые — те, кто когда-то тоже бегал, а потом остался навсегда. Ходок, впервые попавший под их кроны, первым делом замечал светлые пятна на земле. Как бы тесно ни стояли деревья, кроны

их нигде не смыкались друг с другом, и между ними всегда оставались узкие полосы открытого неба, и солнце падало по ним до самой земли светлыми тропами. Стоять на такой тропе было сытно, только держалась она недолго: солнце шло дальше, и тропа уходила вместе с ним.

Был на их пути и лес, куда не заходили. Он лежал на полпути от больших рек к холмам — огромный, во много дней ходу, и весь до последнего дерева мёртвый. Стволы там стояли такой толщины, что самый крупный из живущих показался бы рядом с ними травинкой; кора на них давно окаменела, крон не было вовсе — только чёрные обломки сучьев в недосягаемой вышине, — и свет доходил до земли беспрепятственно, но земля под ними лежала голая и такая плотная, что корешки в неё не входили. И было в нём тихо так, как не бывает ни в одном живом лесу: ни скрипа наверху, ни гула внизу.

Что там случилось, не знал никто и узнать было не у кого. Старшие приводили младших к опушке — постоять и поглядеть, — и, обойдя тот лес стороной, шли дальше своей дорогой. Светлый всегда уходил оттуда последним.

Речь у взрослых была двойная, и половины её были устроены по-разному. Наверху, ветвями и корой, шёл долгий скрип: одно слово тянулось от утра до вечера, зато слышно его было далеко, через всю рощу, и терпения на такую беседу у ходоков не хватало никогда. А внизу, под землёй, где корни одного срастались с корнями другого, говорили скоро

и обыкновенно — но только с теми, до кого дотянулись корнями. Этой речи ходокам было не услышать вовсе: для неё нужно врасти.

Про тень у них была присказка, которую старшие передавали младшим, а те со временем дальше, и откуда она взялась, не помнил уже никто: Корень держит тень, ходокам в тени дела нет. Кто такой Корень, они не знали. Так называли то, что дышит под камнем, и на этом разговор обыкновенно заканчивался, потому что у бегущих всегда находилось о чём пошуметь.

Светлого же тянуло обратно к камню, и с годами всё сильнее. Второй раз в седую траву он так и не ступил, но всякий раз выкраивал день или два, чтобы вернуться и посмотреть, как за камнем рождается утро. Сначала его ждали и звали, потом привыкли и звать перестали; к вечеру он всегда догонял своих, и никому не казалось, что тут есть о чём беспокоиться.

Срок врастания приходил к каждому свой. Однажды ходок замечал, что больше не хочет бежать: корешки у него грубели, тяжелели и сами начинали тянуться в землю. Тогда он отставал от своих и уходил искать место, и это был первый и последний по-настоящему важный выбор в его жизни. Место было судьбой: точка, на которой ходок останавливался, принадлежала ему навсегда, и то, что с неё открывалось, оставалось его единственным видом на все века вперёд. «Выбирай, что видеть», — говорили уходящим вслед.

Одни находили место за день, другие обходили полмира и возвращались туда, где выросли. Светлый шёл дольше многих. Он миновал низины у южного моря, где корни в тепле круглый год, миновал речные террасы с их жирной илистой землёй, поднялся на плоские холмы и спустился с них, и наконец вышел туда, куда врастать не приходил никто уже более трёхсот лет.

Старый восточный ряд стоял вдоль самой границы живой земли, редкий и прямой. Это были исполины, каких он не видел больше нигде: вершины их терялись где-то в вышине, и снизу верхних ветвей было не разглядеть вовсе. Все они смотрели в одну сторону. Между двумя из них оставался просвет, ровно на одного. Он встал туда и отпустил корешки в землю.

Про врастание ходокам рассказывали разное, но на деле в нём не было ничего страшного: было только медленное онемение. Спустя десятилетия корешки его разошлись в темноте, отыскивая воду, и загрубели; ствол вытянулся вверх, раздался вширь и перестал гнуться. Всё, что он успел набегать за свою юность — реки, туманы у южного моря, плоские холмы с их бесконечным ветром, — год за годом уходило внутрь и твердело там, слой за слоем, целое и невредимое, но с каждой зимой ложилось всё глубже.

Последнюю полосу живой земли лес звал длинно, целой фразой, и означала она: дальше не растёт ничего. Но нижняя речь длинного не носит. За тысячелетия от фразы осталось

одно слово — Ир-ме-лам, — и что оно значило поначалу, не помнил уже никто. Это и стало его новым именем.

* * *

Так их и писало время. Каждый прожитый год ложился внутри отдельным слоем поверх прежних: тёплый и сытый — широким, голодный — узким в волос, а бури и засухи оставляли в древесине зарубки, которые не заживали уже никогда. Всякий вросший был летописью самому себе, но прочесть её он не мог, потому что новое всегда нарастает поверх старого и до ранних слоёв изнутри не дотянуться, как памятью не дотянуться до собственного рождения.

Когда сок пошёл в нём уже глубоко и медленно, по-взрослому, он услышал нижнюю речь, и пришла она не такой, какой её слышат в глубине леса. Корни его срослись с корнями соседей, а те — с корнями давно умерших. И от них до самых живых рощ тянулась одна сплошная мёртвая древесина. Мёртвое ничего не повторяет, а лишь пропускает через себя, и потому доходил до него один общий гул всего леса: одни и те же слова днём и ночью, без начала и без конца — Корень держит тень, ходокам в тени дела нет, выбирай, что видеть. Так лес говорил сам с собой, и голос этот не принадлежал никому в отдельности.

Нижнюю речь слышат только те, чьи корни срослись между собой; дальше она идёт пересказом, через десятки чужих, и с каждым разом теряет слова. По обе стороны от него доживали свой век двое, заставших этот ряд ещё живым. Де-

ревья вокруг стояли мёртвые не первый век, и всё, что эти двое знали, лежало в них без выхода, как вода в замкнутой низине. Ир-ме-лам стал первым, кто врос к ним вплотную за триста с лишним лет.

Сначала они молчали. Он слышал их — два тяжёлых, медленных присутствия по обе стороны, — но ни один не отозвался ни в первую весну, ни во вторую. Он решил, что так и надо, и перестал ждать. А на третью, без всякого повода, правый заговорил — и повёл речь так, будто продолжал разговор, прерванный давным-давно.

— Мы ведь тоже бегали, малыш. Тень тогда была тоньше, и мы подходили близко, ближе, чем подходят теперь.

— Мы видели глаза, — сказал другой. — Они были тогда ещё открыты — большие, как озёра в низинах. И смотрели они куда-то мимо нас, вглубь, туда, где темно. Кто раз это видел, тот потом всю жизнь просыпался среди зимы, чтобы послушать, дышит ли.

— Дышит, — сказал правый. — Корнем его назвали мы. У нас ведь всё, что стоит, держится на корне. А он лежал под самым камнем — вот мы и рассудили, что камню он и есть корень, оттого камень и держится.

Ещё он рассказал, что, пока глаза были открыты, у леса ходила другая присказка — и совсем не про запрет: он держит тень, живите спокойно.

А потом глаза закрылись, в один день, без знака и без прощания. Об этом правый рассказывал дольше всего: как они

видели, что веки опускаются медленно, и как в глубине погасло то, что до тех пор ровно светилось. Лес назвал это так: он ушёл в свою зиму. Своя зима есть у каждого вросшего — сок останавливается, и жизнь ждёт тепла. А у всякой зимы бывает весна.

— Мы её ждали, — сказал правый.

— Лес и сейчас ждёт, — отозвался левый. — Только не помнит чего.

Всё это он узнал за первые свои годы. Говорили они скоро, как говорят вросшие вблизи, и рассказывали они охотно: впервые за триста лет нашлось кому.

* * *

Со своего места он увидел, что почти все деревья вокруг мёртвые. Кроны у них стояли голые и не одевались ни весной, ни летом; у подножий не пробивалось ни одного корешка молодой поросли; изо всего восточного ряда живыми были трое — он и двое древних по бокам. Остальные стояли так же прямо и высоко, как стояли века, и смотрели на камень. Издали ряд казался строем великанов, вышедших встречать зарю; и только вблизи становилось понятно, что встречать её здесь давно некому.

Раз в несколько поколений приходила короткая весть: ещё один ушёл в тень. Больше в ней не было ничего — ни имени, ни места, ни того, чей он и сколько прожил, — потому что имён нижняя речь не носит.

А как это случалось, видели только эти трое.

Ходок выходил из тёплой травы к границе света и останавливался. Стоял день, стоял другой, бывало — и дольше, не приближаясь и не отходя. А потом, всегда на рассвете, когда солнце ещё было за камнем и тень лежала через всю равнину, делал шаг в седую траву и шёл дальше, не оглядываясь, прямо к камню.

И всякий раз Ир-ме-лам видел одно и то же. У самого подножия воздух над мёртвой землёй всегда дрожал. Сквозь него было видно всё — и рёбра, и трещины, — но края у всего расплывались и мелко ходили из стороны в сторону, будто глядишь через текущую воду. Уходящий доходил до этой дрожи, терял очертания и пропадал из виду.

А лес тем временем поворачивался спиной. Ходоки всё чаще выбирали места подальше от тени и всё чаще так, чтобы её не видеть вовсе; каждый выбирал сам, и всякому его выбор казался собственным. Если бы кто-нибудь мог посмотреть на этот мир сверху, то перемены открылись бы ему разом: старый ряд лицом к камню, а за ним всё, что выросло позже, — сперва вполоборота, потом боком, а дальше, до самого заката, молодые рощи и вовсе кронами на запад.

Тем же незаметным ходом усыхала и присказка. В самой глубине лежало старое: он держит тень, живите спокойно. Поверх него легло короче: ходокам в тени дела нет. Ещё поверх — совсем коротко: в тень не заходи. А у самых молодых от всего закона осталось одно слово, тень, и было оно теперь просто запретом, который никто не умел объяснить.

До Ир-ме-лама ходоки добредали редко: дорога к восточному ряду лежала в стороне от всех путей, и старшие отговаривали младших туда ходить, хотя прямо и не запрещали. Но тот, кто добредал, получал у его корней то, чего не давала нижняя речь, — рассказ, в котором были живые подробности и чужая давняя жизнь, а не одни голые слова.

Одна из них прожила под его кроной целую осень. Она была тонкая, и листва у неё была светлая, чуть не белая, — такая же, как у него самого, — и слушала она молча, потому что верхняя речь идёт медленно. За эти месяцы он успел рассказать ей три вещи: про открытые глаза; про то, что смотрели они мимо, куда-то вглубь; и про старую присказку, при которой в этом мире хорошо росли. Уходя, она обернулась и долго смотрела на камень.

В начале следующего лета она вышла из травы на границу света и остановилась. Он узнал её сразу — по светлой листве. Она стояла так несколько дней, а потом, с рассветом, ступила на седую траву.

Тогда он сделал единственное, что может сделать взрослый. Он сбросил всю листву разом, посреди лета: так у них кричат, и иного крика им не дано. Светлая волна листвы пошла по ветру через седую траву, ей вслед. Она не обернулась. Она уходила в тень маленькая и хрупкая, и он смотрел, пока воздух у подножия не качнулся и не смазал её очертания.

Больше он не рассказывал про открытые глаза никому.

Правый умолк через несколько зим после того лета. У

вросших это не называется смертью, для смерти у них вовсе нет слова: слои просто перестают нарастать, а дерево стоит, как стояло, и снаружи не меняется ничего. Лес его не отпустил — сок шёл к нему от соседей ещё долгие годы, потому что корни не умеют отличить умолкшего от спящего. Левый успел начать что-то рассказывать с осени и не договорил: весной он не проснулся, и начатое так и осталось в корнях, тёплое и незаконченное. С тех пор во всём ряду живым был один — Ир-ме-лам, — и сок шёл теперь через него к двум молчащим; он держал их корни в своих, а рассказ их — в себе, весь, до последнего слова.

Ходоки выходили к нему и после, но всё реже — раз в поколение, а под конец и того реже. Последний пришёл на исходе лета, встал у его корней и долго смотрел через седую полосу туда, где под камнем дышало. Ходок был совсем молодой и, судя по всему, не ждал, что дерево отзовётся, когда спросил:

— Что там?

Ир-ме-лам мог ему рассказать всё. Открытые глаза; старое слово; тот, кто держит; чужой рассказ, который он носил в себе века, — всё это было при нём и никому больше не было нужно. Он молчал до рассвета, а для верхней речи это совсем немного. И когда солнце поднялось за камнем и тень легла через равнину до самых его корней, он ответил тем единственным словом, которое ещё ходило по кругу:

— Тень.

Ходок постоял ещё день, а потом ушёл в глубину мира и врос там над ручьём, в хорошем тёплом месте, спиной к утру, как врастали теперь все.

* * *

Так этот мир и жил дальше, и жил он неплохо. Ходоки уходили от холодов и возвращались обратно. Между кронами, как и прежде, лежали ровные полосы открытого неба. А вся правда о тени хранилась целиком, до последнего слова, лишь в одном вросшем по имени Ир-ме-лам. И с каждым новым годом эта правда уходила ещё на один слой глубже.

Зверь, слышавший этот мир из любой дали, перемены в нём не заметил. Он чувствовал саму жизнь — а жизни в лесу не убыло. Она вся осталась на месте — только смотреть стала в другую сторону.

А за седой травой, у подножия каменного ряда, дышало то, что здесь называли Корнем, — ровно и медленно, — и один его выдох был длиннее целой чужой жизни. Под тяжёлым веком, у самого его края, оставалась незакрытой узкая влажная черта, и обращена она была к лесу.

К тому лесу, что теперь стоял к нему спиной.

Глава 6. Ясный день



В воскресенье идёт дождь. Я с самого утра уже за письменным столом.

Дождь ровный, тихий, без ветра; такой может идти сутками. Сосны за окном потемнели, с каждой ветки капает, и гор за лесом не видно — сплошная серая пелена. В доме от этого только уютнее — сухо и тепло. Энджи приходит следом за

мной, устраивается у монитора и какое-то время наблюдает за работой. Скоро ему это надоедает и он уходит по своим делам. В конце концов, он же убедился, что всё идёт как положено, — значит, его присутствие необязательно.

Я пишу новую главу. Про мир, где деревья в молодости ходят, а потом врастают в землю навсегда; где на востоке стоит камень, а под ним что-то дышит. Сам этот мир сложился сразу, без всяких усилий, и первые страницы написались быстро. Трудности начались там, где нужно было объяснить самому себе, как в нём всё устроено. Первая книга такого не требовала: там жили люди, а про людей я знаю достаточно. Здесь же в каждой мелочи приходится разбираться, будто в чужом приборе, к которому у меня нет схемы.

Вот, например, утро. Ночи у них холодные; молодые деревья спят в лощинах, где земля держит собственное тепло, а с рассветом бегут наверх, на открытые склоны, — так у меня написано с самого начала, и картина эта мне нравится. Но почему наверх? Тепло-то внизу. Я сижу над этим какое-то время, пока до меня не доходит простая вещь: к утру земного тепла внизу уже не хватает, а солнце туда доберётся нескоро — низкие места до середины дня остаются в тени, да и рощи там как раз самые густые, и под их кронами много света не бывает. А вот наверх солнце приходит первым. Туда они и бегут, чтобы побыстрее отогреться. Всё встаёт на свои места, и я переписываю утро заново, теперь уже правильно.

Так проходит мой день: над каждым абзацем — по полу-

часу раздумий. Дождь за окном не стихает.

Вечером я дописываю про то, как у взрослых деревьев всё прожитое уходит внутрь ствола и ложится там слоями, один поверх другого, — и на этом месте вспоминаю, что всё это у меня уже было. В двух песнях, которые вышли на канале с полмесяца тому назад. Одна называется «Начало» — она про рощу, где сорок тысяч стволов стоят на одном общем корне. Другая — «Кольца», про свежий срез, в котором каждый прожитый год виден отдельным кругом. Я нахожу обе и перечитываю. Совпадают не слова — совпадает мысль, и ничего удивительного в этом нет: голова одна, и выходит из неё одно и то же, то песней, то главой.

* * *

В понедельник меня будят в шесть сорок, как положено, и первое, что я замечаю, — тишина. Дождь, который шёл с субботы, к утру перестал: не стучит по крыше, не капает за окном, и в доме от этого непривычно тихо. По дороге на работу лес стоит мокрый и тёмный, зато на повороте, где сосны расступаются, открываются горы — высокие и объёмные, с пятнами солнечного света на зелёных склонах. К середине дня облака расходятся совсем и становится теплее. Немного, но и это событие: лето в этом году холодное даже для наших мест — около пятнадцати, и так неделя за неделей. Мне нравится. Это лучше, чем жара.

На работе понедельник как понедельник: чай-кофе, письма, код, и к вечеру я не помню, как прошёл день. Забираю

жену, мы едем домой той же дорогой, ужинаем, и я снова сажусь за главу.

Сегодня я перечитываю вчерашнее и убираю из него всё лишнее. Это обычная работа: стоит начать писать о живом, как в строку сами собой лезут руки, ноги, спина — деревьям ничего этого не положено, и каждое такое место приходится переделывать. У них есть ствол, корни и листва; могут ходить, повернуться, сбросить лист, врасти в землю. Больше они не могут ничего.

За окном темно, и в отражении на стекле только размытые силуэты комнаты и меня самого. Энджи приходит, лежит с полчаса на своём месте у монитора и уходит — сегодня ему нечего мне сообщить.

* * *

Вторник встречает меня солнцем. За ночь дорога просохла, деревья у обочины стоят светлые, сухие, и низкие лучи мелькают между стволами. К полудню становится по-настоящему тепло — теплее, чем было всю прошлую неделю. Этим летом таких дней почти не выпадало.

После работы забираю жену, и на обратном пути мы заезжаем в магазин — ничего особенного, обычные покупки.

Выходим, идём через стоянку к машине; укладываем пакеты в багажник, жена садится, а я так и остаюсь стоять.

Осень.

Я стою у раскрытой двери, на солнце; оно греет по-летнему, и всё же я знаю: идёт осень. Вроде бы ничто на это не

указывает. Тёплый вечер. Всё вокруг ещё зелёное, ни одного жёлтого листа, и даже небо ещё по-летнему высокое. Может быть, что-то в воздухе. Что-то неуловимое.

И тут же, безо всякой причины, я вспоминаю юг. Юг моей молодости, горы, по которым я тогда столько ходил. Вспоминается не какой-то один день и не какое-то одно место — ничего отдельного, ни лиц, ни событий. А сразу всё, как на большом фотоснимке: сюжета нет, а есть только общая картина.

Ясный день, зной. Тропа идёт вверх по камню, между соснами, и пахнет нагретыми на солнце травами. Вокруг дикий лес, в котором никого не встретишь, и со всех сторон звенят цикады. А если подняться повыше, далеко внизу открывается море. В этой картине нет ни ночёвок, ни костров, ни попутчиков. Только образ.

Я не думаю о тех временах. Не потому, что не хочу, — просто хватает иных забот, и воспоминания эти редко приходят. А сегодня вот накрыло, без спроса, и странно тут одно: почему именно сейчас? Там было жаркое лето, а вспомнилось оно в ту самую минуту, когда я впервые почувствовал осень. Память обычно идёт по сходству — на тот же запах, свет или холод. А здесь никакого сходства нет. Ну или я его просто не заметил.

И вот мне уже хочется куда-нибудь пойти. Не на юг, нет — просто куда-нибудь: налегке, без цели и без плана, увидеть что-то, чего я ещё не видел. Желание неожиданное и

сильное. Объяснение у него самое простое: я слишком долго занимаюсь одним и тем же, каждый день, вот и всё. Жена ждёт. Я сажусь в машину, и мы едем домой.

* * *

Дома, после ужина, я сажусь дописывать главу. Работы осталось немного: всё перепроверить и придумать название, с которым я вожусь дольше, чем со всем остальным. Сначала оно было «Кромка», потом «Порог», но и то и другое — география, а глава не про место — она про того, кто на этом месте растёт. Значит, и называться она должна его именем. Имя я тоже перебираю — одно, другое, третье. Последнее немного меняю, когда вдруг слышу в нём созвучие с Тамерланом.

Потом я читаю главу своей любимой. Читаю вслух, как и все предыдущие. Она сидит рядом, с чашкой чая, а я по привычке украдкой слежу за её реакцией. Она внимательно слушает. Но когда я дочитываю, молчит.

Молчит долго. По моей же шкале это значит одно: переписывать, — и я уже прикидываю, с чего начать.

— Красиво написано, — говорит она наконец.

Это сказано честно. И я ей верю.

В тот же вечер я выкладываю главу — черновиком, как и всю вторую книгу: по главе, как только она готова. Пусть читается, пока пишется. Перед сном заглядываю на канал: тихо. Дима откликается всегда — на песню ли, на главу ли, — только обычно на следующий день. Сегодня, значит, рано.

А желание пойти куда-нибудь, накрывшее меня у магазина, к ночи проходит. От него не остаётся и следа, и я о нём больше не думаю. Выключаю монитор.

* * *

Дальше по счёту должна идти среда. Я пытаюсь вспомнить, что в ней было, — и не могу. Перечитываю написанное как хронологию: воскресенье, дождь и глава; понедельник, дождь кончился; вторник — магазин, осень, юг, вечером чтение, публикация, монитор. Потом ночь, сон. Потом утро четверга. Среды между ними нет. Ещё раз перечитываю главы и сверяю даты. Всё верно написано, но среда опять выпадает. Может, где-то ошибся с днями. Бывает. Пропала и пропала. В жизни происходит много странного, и я обычно не зацикливаюсь на этом. Уверен, всё, что случается, — несёт свой смысл. Рано или поздно он мне откроется.

* * *

Ночью мне снилась дорога.

Сон был длинный и, как всякий сон, целый только изнутри. Наутро от него остались куски, которые не желают складываться, и я записываю их так, как они лежат.

Дорога та самая: сухая, каменистая, всё время вверх, под ногами тёплый камень, и я иду по ней налегке. Только вокруг всё не то, что я ожидаю увидеть. По сторонам от дороги — миры, и они сменяются, как комнаты в длинном коридоре, где все двери открыты: шаг — и другой воздух, шаг — и другой свет. Во сне это меня не удивляет. В руке вдруг по-

является сумка с продуктами из магазина, и я знаю, что ставить её на землю нельзя, хотя и не понимаю почему.

Город на склоне возникает внезапно: только что был лес и подъём — и вот белые дома, улицы к реке, вечер, низкое солнце. Внизу дети гоняют мяч, и мяч всё время опережает свою тень. Я поднимаю руку — тень руки на земле поднимается позже. Резко опускаю — и она медленно повторяет движение.

— Здесь свет вязнет в воздухе, — говорит кто-то рядом. — Идёт, но медленно. Пока он от твоей руки доберётся до земли, рука уже опустится.

Тут я понимаю, что рядом идёт человек — не пришёл, не догнал, просто идёт, как будто шёл всегда, — и держит мою кофейную чашку. Высокий, спокойный, с той улыбкой, с какой говорят с детьми о серьёзном, и я даже знаю, кто это — гость из моей первой книги, тот, что в последней главе сидел за моим столом и пил со мной чай. Я сам его написал. Во сне это в порядке вещей. Хотя сейчас я вспоминаю это и удивляюсь, ведь раньше он мне ни разу не снился.

— Значит, и солнце… — говорю я.

— Село. Полдня назад. — Он смотрит на закат, как смотрят на старую фотографию. — А свет всё идёт, и у них всё ещё вечер. Здесь видят только то, что уже случилось.

— А они знают об этом?

— Знают, конечно. Живут с этим — как вы со временем, которого тоже никто не видит.

Старик на крыльце курит и глядит на солнце, которого нет.

— А ты откуда всё это знаешь? — спрашиваю я, хотя ответ мне известен: я его сам писал.

— Я вижу время всё сразу. Из конца в конец, как ты с холма видишь дорогу. — Он отпивает из моей чашки. — Твои слова. Ты их обо мне написал.

— Тогда ты знаешь, чем всё это кончится.

— Знаю.

И больше ничего. Я понимаю, что продолжения не будет: он не скажет — как и я не всё говорю своим читателям.

Дальше провал. Город остаётся где-то позади, а я уже сижу на камне у дороги, и рядом со мной сидит Энджи — здесь, за тридевять миров от дома — и смотрит куда-то вдаль. Сумка с продуктами стоит на земле, но меня это уже не волнует.

Долина открывается ниже дороги — широкая, с деревней на дне, и над ней среди дня чёрное небо. Не тучи: небо чёрное, как ночью, звёздное, а солнце висит белым, резко очерченным кругом. Так бы оно выглядело в космосе. Внизу горят окна. И так тихо, что я слышу, как Энджи мурчит.

— А этот мир гаснет, — говорит он. Я поворачиваюсь, кота нет — снова рядом гость, но уже без чашки.

Мы спускаемся. В деревне нас ждут. Никто не удивляется и не спрашивает, откуда мы; ко мне подходит женщина с лампой в руках и говорит: «Вы же инженер. Посмотрите». Лампа простая, керосиновая, только огня в ней нет, и она хо-

лодная, как камень зимой. Я открываю её — внутри ничего. Ни фитиля, ни керосина, ни места для них. Пустота, от которой мёрзнут пальцы. Я закрываю лампу и отдаю обратно.

— Это не чинится, — говорю я. И тогда она ставит лампу себе на голову и, напевая детскую колыбельную, уходит прочь.

— Они все могут уйти отсюда, но не уходят, — говорит гость.

— Почему?

— Потому что это их дом. А его не бросают оттого, что в нём гаснет свет.

Тут я замечаю: за последними домами, по самому краю долины, что-то идёт. Что именно, не видно — видна только трава: она ложится ровной полосой, как под медленным тяжёлым шагом, и полоса эта движется вдоль края. Гость кивает. Не мне — тому, кто в траве, как кивают знакомому через улицу.

— Кто там? — спрашиваю я.

Он долго смотрит на меня, всё с той же улыбкой.

— Ты знаешь кто. Ты о нём книгу сейчас пишешь.

Я понимаю, о ком он, и спрашиваю то, что спросил бы наяву:

— Что он здесь делает?

Гость не отвечает. Он только улыбается, и от этой улыбки мне делается страшнее, чем от чёрного неба над головой.

— Скажи мне, — говорит он негромко, — если бы гас

твой дом и можно было уйти — ты бы остался?

Я открываю рот, чтобы ответить, — и не слышу себя. Звук пропал вместе с воздухом. Окна внизу всё ещё горят. Энджи — он снова здесь, сидит рядом — встаёт и выгибает спину. А полоса примятой травы сворачивает с края долины, идёт прямо на нас — и обрывается у моих ног.

На этом я просыпаюсь.

* * *

Просыпаюсь я раньше, чем обычно, и первое, что делаю, — вдыхаю. За приоткрытым окном серый рассвет и первые птицы. Я лежу, глядя в потолок, и держу сон, пока он не расползся: несколько фраз собеседника, дорога, полоса травы у ног. Объяснение, как обычно, наготове: дорога — та самая, из молодости, что вспомнилась у магазина; сумка — оттуда же; гость — из моей же первой книги; кот — свой; а миры, которые гаснут, — это и есть вторая книга, я в ней живу. Голова взяла всё это и сложила. Всё верно. И всё-таки я лежу ещё несколько минут, прежде чем встать.

Дальше четверг идёт своим чередом. Захожу на свой канал — комментарий от Димы пришёл ещё ночью, пока я бродил по чужим мирам.

Он пишет, что пятую главу ждали не зря: ходящий лес — это невероятно, такого они с Фанатом не могли себе представить, а теперь оно есть. Что герои трогательные, а та, что всё-таки ушла в тень, оставила грусть — они-то знают, что это за тень. Что в спящем камне они узнали того самого Дракона и

его долгий полёт длиною в жизнь. И что мир этот фантастический, но не сказочный: где-то, далеко, он наверняка есть, а я услышал его эхо. И оно — навсегда. Дальше стоят смайлики — огонь, кулак и взрыв, — которые в книге не напечатать.

Я перечитываю это ещё раз. Он прочёл всё, что я вложил, и ещё немного сверх того — то, чего я, кажется, не вкладывал. Затем я ему отвечаю. Пишу, что ждал его комментария; что он теперь и сам — часть книги; и что тот, кто однажды пошёл на свет Маяка, и сам начинает слышать Эхо. Эхо самого Маяка.

Отправляю, допиваю кофе и еду на работу.

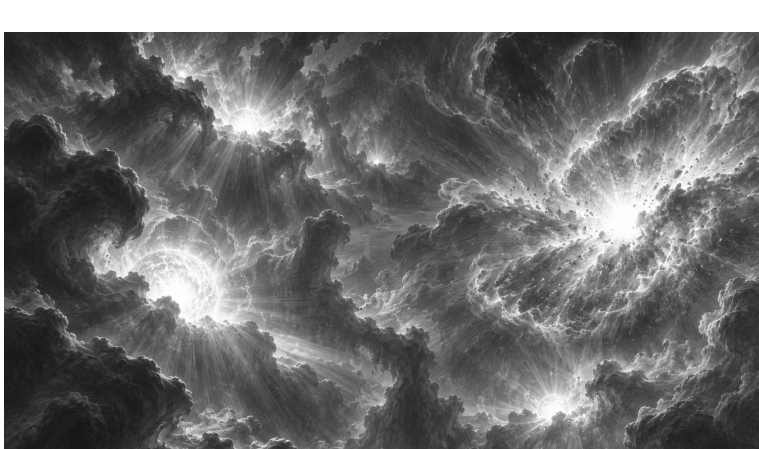
Его ответ я читаю уже на работе. Парадокс, пишет он: они с Фанатом — часть моей книги, а я, Маяк и Эхо давно стали частью их жизни; и просит писать дальше — эхо далёких миров должны услышать люди. А ниже приписка, за которую он извиняется: главу читал лёжа на диване, вслух; Фанат слушала очень внимательно, но её резюме он не услышал, потому что уснул — и ушёл к Ир-ме-ламу сам. Удивительный сон: ни Зверя, ни Дракона, Творца только краешком ощутил, зато огромные деревья, на ветках которых уместились бы наши дома, бездонное, почему-то бирюзовое небо — и они с ним разговаривали, жаль, языка их он не знает. Проснулся бодрым, как давно не бывало. Выходит, пишет он, что я как-то передаю через свои страницы энергию тех миров.

Дома, вечером, я открываю его приписку снова. Интересно. В одну и ту же ночь двум людям, которые никогда не

видели друг друга, приснились разные сны — мне дорога и чужие миры, ему деревья и небо, — но с одним и тем же движением: уйти туда, где всё это живёт. Объяснения есть на оба. Он читал главу перед сном, лёжа, вслух, — что ещё могло ему присниться? Я писал её три дня — что ещё могло присниться мне? Две головы, две полки, и на каждой всё разложено как надо.

Не укладывается только небо. В главе я ни словом не обмолвился о его цвете; в моём мире оно никакое, я просто ни разу о нём не подумал. А у него оно бирюзовое, и он сам этому удивляется: «почему-то». Сны дорисовывают, это известно. Я закрываю канал и иду спать.

Глава 7. Уцелевший



В ту пору Творец шёл по самому молодому краю вселенной.

Звёзды рождались здесь первыми поколениями: исполины в сотни солнц вспыхивали в глубине непрозрачных облаков, жили яростно и коротко и взрывались, отдавая пространству всё, что успевали выплавить в недрах. Из этого на-

следства когда-нибудь соберутся планеты и наполнятся первые моря, но молодому краю предстояло сперва остывать долгие миллиарды лет, и жизни в нём не было пока никакой.

Остальную вселенную Творец держал в постоянном чтении: всё её вещество разом, в один миг, до последнего атома, — и помнил каждый мир до последней песчинки. Зверь так же видел всё живое. Вдвоём они знали всё целиком — и всё же не могли понять одного: природы того, кто лежал у стен.

* * *

Вой пришёл отовсюду и сразу.

Он вырвался из всех стен всех миров в одно мгновение — из каждой границы, потому что все они были одним телом, и это тело умирало. Волна пошла от каждого рубежа вглубь, навстречу таким же волнам от остальных, — дрожь самой основы, на которой стоит вещество. Она прошла всё насквозь, всюду в полную силу: миры — так, что горы загудели от подножий до вершин, моря качнулись в своих чашах, а воздух над равнинами дрогнул и осел; пустоту; звёзды — от короны до ядра; и самого Творца.

По опорам, что держат порядок вещей, пошли трещины. Что-то, натянутое через всё мироздание от первого дня, провисло. И время, единственное в этой вселенной, что шло само по себе, на неделимый миг остановилось.

Во всех мирах живое замерло и вслушалось — а потом вернулось к своим делам, не узнав, что это было.

А в самой глубине этого воя стоял голос.

Творец узнал его сразу — узнал, ни разу прежде не слышав. За всю их общую дорогу страж молчал — и первый его голос оказался последним. Слов не было. Была боль, которой не хватило бы места во всех мирах; была тяжесть вечности, что многократно старше самой жизни; и было одиночество последнего мгновения — такое, что содрогнулся даже тот, кто никогда не знал страха. Убить его стража было нечем — такой силы не существовало. И всё же вой был предсмертным. Это Творец знал вернее всего остального — и впервые с начала времён остановился.

* * *

В тот же миг опустели все стены.

У ближней из границ лежала громада. Чтение держало её всю, до последнего атома. Вещество было целым. Дракона в нём не было, и подаренное ему небо погасло вместе с ним. То же самое лежало у всех остальных стен — у каждой из сотен тысяч: тело целое, но нигде ни следа того, кто собою держал рубежи. Природы своего стража он не понимал, пока тот жил. Теперь не понимал его смерти.

И в мирах поднялась тьма. Творец видел её всюду. В мире красных песков она шла с гребня на гребень, и барханы после неё лежали нетронутыми — только новых следов на песке больше никто не оставит. В мире тысячи островов она входила в лагуны потоками и после неё вода стояла чистая до самого дна — и мёртвая. Там, где росли высокие травы, она катилась по равнине шире любого пожара, и травы за ней

оставались с виду целыми, но пустыми. Она смывала только жизнь и не трогала ничего больше.

Остановить это было нельзя. Он искал, за что взяться, и не находил: тьма вставала отовсюду, из самой земли каждого мира, как вода из прорванной плотины. Такую пробоину не заткнуть. Можно лишь дождаться, пока схлынет и утихнет, а после уже разгребать то, что останется.

И он смотрел до конца — на каждый мир в час его смерти, на все одновременно. Вещество везде оставалось целым, как и тела у стен: реки текли по руслам, которые он вывел, выправленные оси держали ровный черёд времён года, звёзды грели пустые просторы.

* * *

Всё, с чем Творец хоть раз соприкоснулся, стояло в его чтении постоянно. Смерть стража стала первым, что он объяснить не смог, и миг гибели закрылся, отошёл неразгаданной загадкой. Что делать дальше, он уже знал. Каждый погасший мир стал прорехой, и он запечатает их наглухо, со всех сторон, чтобы жизнь, когда она вернётся, не ступила в отравленные области. А после он найдёт причину смерти — то, что смогло убить Хранителя.

Один-единственный мир всё же уцелел. Жизнь там продолжалась, хоть и страж у его стены был мёртв. Творец знал этот мир: люди пришли туда недавно, самый молодой народ вселенной, и уже строили города у воды и тянули дороги в небо. Их короткие века шли быстро: из всех миров один этот

торопился жить.

Тьма, не встретившая преграды нигде, здесь стояла у самого края и не шла дальше. Творец читал этот мир, как любой другой, но не находил, что могло бы держать стену: природа такой силы лежит вне вещества.

Но стена стояла, и что-то её держало.

Глава 8. Небесная Гряда



Никто в том мире не видел ни дня, ни ночи. Была одна долгая вечерняя заря, растянутая на целую жизнь: багровое солнце висело у самого края земли, будто зацепившись за него, и не поднималось выше, и не уходило вниз. Дымка над горизонтом гасила его блеск, так что смотреть на него можно было без усилия; косой, тёплый, ржавый свет стелился по

земле и вытягивал за каждым бугорком тень во много раз длиннее того, что её отбрасывало. Планета поворачивалась так неспешно, что за один её оборот успевало смениться целое поколение, от первого шага до последнего, и вместе с ней, с той же неторопливостью, ползла по миру полоса, в которой можно было жить. Впереди неё лежал выжженный день, позади — промёрзшая ночь. Между ними, в этой узкой ленте бесконечного вечера, двигалось всё живое: шаг в шаг с солнцем, за солнцем, к солнцу. Полный поворот планеты — назовём его кругом — был там мерой всему: возрасту, дороге и тому, что осталось за спиной.

Дожди всегда шли навстречу — из мутного неба впереди, тёплые и недолгие, с крупными тяжёлыми каплями. После них в низинах бежали ручьи и блестела вода, и в каждой луже красный диск солнца дробился на десятки дрожащих осколков. Из сырой земли поднималась поросль. Сначала она была бледной, почти прозрачной, тонкой; пока полоса ползла дальше, побеги густели, темнели, наливались чернотой и наконец вставали плотным ворсом, упругим и сочным. Спелая поросль была чёрной, как ночь за спиной. Её и ели.

Ели, не останавливаясь, — в том мире вообще всё делали на ходу. Живого в полосе было два рода, и шли они вместе, вперемешку, во всю её ширину — одним потоком. Одних назовём ползунами: плоские, распластанные, на множестве коротких ног, они текли у самой земли сплошной шевелящейся массой и снизу, у корней, выедали поросль дочиста.

Над ними, на шести длинных ногах, ступали идущие. Тела их были подняты так высоко, что ползуны свободно проходили под ними; спины закрывали тёмные щитки, лежавшие внахлёст, один поверх другого, а спереди, под большим глазом навыкате, свисали до земли два щупа, гибких и сильных. Этими щупами они срывали верхушки побегов, до которых больше никому было не дотянуться, через них пили и ими же касались тех, кто рядом. Тех и других было столько, что ни начала, ни конца этого шествия не было видно, и над всем стоял ровный, никогда не смолкающий гул — шорох бесчисленных шагов по чёрному ворсу, хруст, дыхание.

Позади всё было по-другому. Там, где поток прошёл сутки назад, земля уже белела от инея; ещё дальше лужи брались льдом, а за ними начиналась ночь — чёрная, беззвучная, промёрзшая на годы вперёд. О ней знали одно: она идёт следом, с той же скоростью, и не отстаёт никогда. Зато небо над ней было ясным — единственное чистое небо того мира, прозрачное и чёрное, — и в нём всегда горели звёзды. Чтобы увидеть их, надо было оглянуться, но оборачивались редко и неохотно.

Ничто в том мире не оставалось на месте. За один круг ручьи меняли русла, холмы рассыпались и взамен вырастали новые: день выжигал землю, ветер перекраивал её на свой лад, а ночь всё заковывала в лёд. Не было ни троп, ни примет, ни камня, который остался бы надолго на одном месте. Запоминать дорогу было невозможно, да и незачем: она все-

гда была одна — вперёд, за светом.

* * *

Спали так же, как пили и ели, — на ходу. Если кого-то одолевал сон, его обступали двое других и смыкали бока; тот опускал на них щупы, закрывал глаз и шёл дальше, чувствуя чужое тепло с обеих сторон, и снился ему, должно быть, всё тот же путь. Проснувшись, он сам подставлял бок другому. Лечь не мог ни один из них: тело, ни разу с рождения не замиравшее дольше нескольких вдохов, просто не знало, как это делается.

Рожали тоже в движении, замерев лишь на пару мгновений, и новорождённый сразу вставал на ноги — тонкий, качающийся, с мягкими ещё щитками на спине — и шёл вслед за остальными. Первые дни кто-нибудь из взрослых держался вплотную и подпирал его боком, чтобы он не завалился и не угодил под ноги другим; потом, когда его шаг выравнивался, чужой бок больше не требовался. Так у каждого из них было в жизни ровно две остановки: первая — когда его родили, вторая — когда он однажды остановится навсегда.

Родства у них не было. Свой — тот, кто идёт рядом; кто выпал из ряда — уже чужой. Мать была своей, пока шла сбоку; потом поток разносил их и она становилась одной из многих, с кем когда-то делили дорогу. Отставших не замечали. В памяти держались только те, кто шёл рядом.

Имён у них не было, но двоим мы дадим свои имена — по месту, где каждый сделал первые шаги. Один встал на но-

ги посреди переправы: река там грохотала по камням так, что заглушала гул шествия, и новорождённый сразу вошёл в холодную воду, потому что все туда шли. Пусть будет Перекат. Другой родился в самом хвосте, у края тепла, где под ногами уже похрустывало и спины покрывались инеем; случилось это давно, целую жизнь назад, и теперь он был одним из самых старых. Его так и назовём — Иней. Щитки на его спине истёрлись и посветлели, щупы стали медлительными, зато шаг остался прежним: ровным, точным, скупым, каким он бывает у тех, кто прошёл почти весь круг.

Переката в первые дни подпирал Иней. Потом нужда в этом отпала, но старый так и остался у его бока, и дальше они шли вдвоём. Перекат давно уже вырос выше Инея на голову и сам уступал ему воду: подводил его к луже первым и ждал, срывая побеги, пока старый напьётся. Когда одному хотелось спать, его вёл второй, а с другого бока — кто придётся.

* * *

Земля под ногами всё время менялась. То ровная чёрная равнина, где поросль стояла до самого горизонта. То холмы, изрезанные оврагами, где дождевые ручьи прогрызали в глине глубокие русла и ряды растягивались, обтекая склоны, а потом снова сходились. То каменистые плато, где поросль пробивалась редкими пучками и ползуны выгрызали её из щелей. Идущие переходили реки вброд, не сбавляя шага, а ползунов обычно сносило течением, и они выбирались ниже по руслу, догоняя своих.

Впереди, за дымкой, почти всегда висели серые полосы дождей, а иногда оттуда налетал горячий ветер и приносил пыль выжженного дня — сухую, колючую. Она забивала глаза, и щитки на спинах покрывались рыжим налётом, от которого те скрежетали друг о друга.

Гибли здесь просто. Оступившийся и упавший под ноги уже не вставал: ползуны шли по нему, не замечая, что под ними, а идущие переступали через него, потому что остановиться не могли. Оттого и подпирали новорождённых боком, оттого и держали спящих с двух сторон: упасть здесь значило исчезнуть под ногами остальных.

Бывали и голодные дни. Случалось, дожди уходили далеко вперёд и долго не возвращались; поросль не всходила, и все шли по голой, потрескавшейся земле, по старым руслам, где вода стояла только на дне ям. Тогда ползуны, выскребая из трещин последние корни, тянулись вверх и хватали идущих за ноги, и у каждого взрослого от таких дней оставались рубцы. Перекат помнил свой первый укус: ползун вцепился ему в ногу выше сустава и висел на ней, пока щуп Инея не разжал его челюсти и не отбросил в сторону. Но голод кончался с первым же дождём: земля оживала быстро и за несколько дней снова покрывалась чёрными побегами.

Кто уходил вперёд, за дожди, в сушь и жар, тот сгорал в считаные дни. Кто отставал, тот навсегда пропадал в ночи. Перекат видел однажды, как один из старых дошёл с ними до переправы, а на другом берегу стал отставать: сперва на пол-

шага, потом на шаг. Вскоре он был далеко позади, в тех рядах, которых из середины потока почти не разглядеть. Никто на него не оглянулся. А если бы кто и обернулся, увидел бы только, как в темноте за спиной шевельнулось что-то, чего мгновение назад там не было. Это были *ночные тени*. Свет ослеплял их, и из темноты они не выходили, а свою добычу брали там же, во мраке, и до идущих не доносилось ни звука. Если поток был жизнью полосы, то они были жизнью ночи, и всё, что уходило назад, доставалось им. Всё, что было ещё тёплым.

* * *

Над краем земли, там, где в дымке висело солнце, пролегла тонкая тёмная черта. Первыми её увидели те, кто шёл впереди, а через день различали уже все. На тучу она не походила — тучи плывут, а эта держалась на месте. День за днём она поднималась выше и раздавалась вширь, пока не растянулась поперёк всего неба, от края до края; концы её терялись за горизонтом с обеих сторон, и издали она была похожа на холмы, повисшие над миром. Назовём её Небесной Грядой, или короче — Грядой.

С её появлением начиналось время еды. Так было каждый круг: едва над краем земли вставала чёрная черта, все принимались есть вдвое больше обычного. Ползуны выгрызали поросль под корень, идущие обирали всё, что оставалось выше, и не переставали жевать ни на шаг: под Грядой не будет ни поросли, ни воды, и прожить там можно только

на том, что накоплено в теле. Щитки на спинах приподнимались один за другим — под ними откладывался запас; шаг становился короче и тяжелее; гул над потоком делался ниже и гуще. Долго Гряда росла впереди, и всё это время наедались впрок.

Наконец её верхний край дошёл до красного диска и закрыл его, и на землю легла тень — широкая, на много дней пути. Поток вошёл в эту тень и двинулся дальше.

Теперь они шли в сумерках. Без солнца земля быстро остыла и затвердела, поросль и вода встречались всё реже. Последнюю воду пили из ямы, по краям которой уже стоял тонкий лёд. В тени было холодно. Стужа шла отовсюду разом, и та сторона тела, что всегда была обращена к солнцу, замёрзла первой. Потом Гряда заслонила собой всё небо и пошёл снег. Он сыпался прямо на идущих — редкий, сухой, беззвучный, — оседал на щитках и щупах, на широких спинах ползунов, и его стряхивали на ходу. Здесь он не таял: солнце сюда не попадало, и холод стоял всегда. Так слой за слоем снег слёживался, превращаясь в лёд.

Вниз тут не смотрели: под ногами было то, чего лучше не видеть. Иней держался рядом с Перекатом, и стоило голове молодого начать клониться к земле, как щуп старого мягко поднимал её.

Но однажды Перекат всё же посмотрел.

Лёд в том месте оказался не мутным, а прозрачным, и под ним, под самой дорогой, были идущие. Такие же, как они:

щитки на спине, щупы, опущенные вдоль тела. Все они стояли прямо, и головы у них были подняты вверх. Он видел их глаза. Единственный глаз каждого был открыт и смотрел сквозь лёд — на Гряду и на тех, кто шёл по льду над ними. Под первым слоем был второй, глубже — третий, и дальше, в глубину, их было не счесть. Поток шёл под их недремлющим взором. А по обе стороны от дороги, чуть поодаль, из-под снега поднимались застывшие фигуры тех, кто остановился здесь в прошлый круг и ещё не полностью ушёл под лёд.

Это было единственное место в том мире, где хоть что-то сохранялось. Всё прочее день выжигал, ветер перекраивал, а ночь обгладывала; здесь же лёд держал всё как есть — круг за кругом, слой за слоем. И ночным теням, когда они добирались сюда следом, взять было уже нечего: замёрзшее им не нужно.

Перекат больше не глядел ни под ноги, ни наверх, ни по бокам. Так они и шли дальше в темноте, по чужим следам.

* * *

Под Грядой обычно останавливались самые старые: те, кто прошёл свой круг почти целиком, оставались именно здесь.

И вот однажды Иней остановился. Перекат заметил это не сразу. Он шёл, как шёл, и вдруг у бока стало пусто. Когда он обернулся, Иней стоял в нескольких десятках шагов позади, подняв голову к Гряде, и на глазу у него лежал снег.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.